



АНАТОЛЬ ФРАНС
СОВРЕМЕННАЯ
ИСТОРИЯ



1911 93.

Annotation

«Современная история» (1897—1901), объединяющая четыре романа «Под городскими вязами», «Ивовый манекен», «Аметистовый перстень» и «Господин Бержере в Париже», это — историческая хроника с философским освещением событий. Как историк современности, Франс обнаруживает пронизательность и беспристрастие ученого изыскателя наряду с тонкой иронией скептика, знающего цену человеческим чувствам и начинаниям.

Вымышленная фабула переплетается в этих романах с действительными общественными событиями, с изображением избирательной агитации, интриг провинциальной бюрократии, инцидентов процесса Дрейфуса, уличных манифестаций. Наряду с этим описываются научные изыскания и отвлеченные теории кабинетного ученого, неурядицы в его домашней жизни, измена жены, психология озадаченного и несколько близорукого в жизненных делах мыслителя.

В центре событий, чередующихся в романах этой серии, стоит одно и то же лицо — ученый историк Бержере, воплощающий философский идеал автора: снисходительно-скептическое отношение к действительности, ироническую невозмутимость в суждениях о поступках окружающих лиц.

-
- [Анатоль Франс](#)
 - [ПОД ГОРОДСКИМИ ВЯЗАМИ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)

- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)

- [comments](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

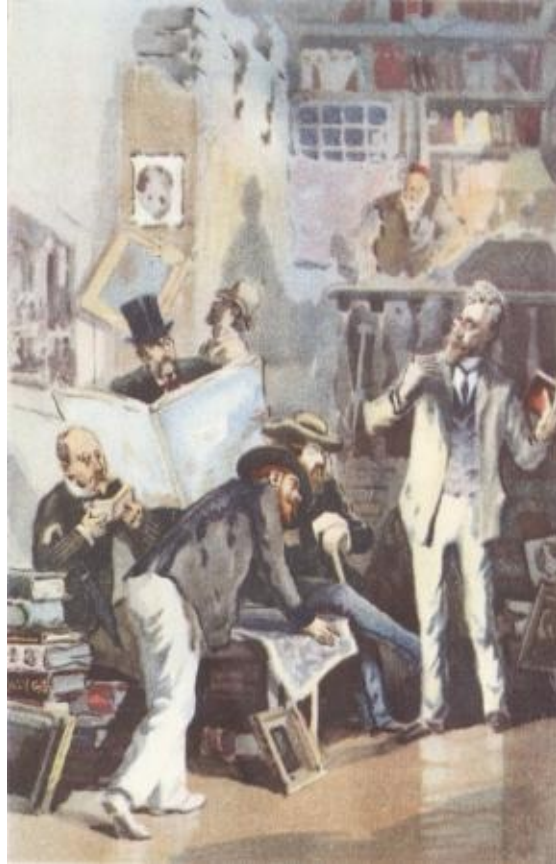
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!



Анатоль Франс
ПОД ГОРОДСКИМИ ВЯЗАМИ



ПОД ГОРОДСКИМИ ВЯЗАМИ



Гостиная, где кардинал-архиепископ принимал посетителей, была отделана еще при Людовике XV деревянной резной панелью, окрашенной в светлосерый цвет. Сидящие женские фигуры, окруженные военными доспехами, украшали карнизы по углам. Зеркало над камином, составленное из двух стекол, было задрапировано по низу малиновым бархатом, на котором выделялась белая статуэтка Лурдской богородицы в красивом голубом покрывале. По стенам висели эмалевые медальоны в красных плюшевых рамках, цветные литографии, изображающие папу Пия IX [\[1\]](#) и Льва XIII [\[2\]](#), и вышивки, вывезенные на память из Рима или поднесенные благочестивыми прихожанками. На позолоченных консолях стояли гипсовые модели готических и романских храмов: кардинал-архиепископ любил архитектуру. С розетки стиля рококо спускалась люстра в духе Мервингов, исполненная по рисункам г-на Катрбарба, епархиального архитектора и кавалера ордена св. Григория.

Монсеньор подобрал сутану, выставил свои короткие и крепкие ноги в красных чулках и, грея их у камина, диктовал пастырское послание, а его викарий, г-н де Гуле, сидя под распятием слоновой кости за большим столом, инкрустированным медью и черепахой, писал: «Дабы ничто не омрачало в наших душах благочестивого ликования...»

Архиепископ диктовал равнодушным голосом, без всякой умиленности. Это был человек очень маленького роста, прямо державший свою большую голову с квадратной, уже обрюзгшей физиономией. Его грубое простонародное лицо выражало хитрость и какое-то величие, выработанное привычкой и любовью к власти.

— «...благочестивого ликования...» Здесь вы разовьете идеи согласия, умиротворения умов, покорности властям предержащим, столь необходимой ныне,— все, что я высказывал уже в своих прежних посланиях.

Господин де Гуле поднял продолговатое, бледное и тонкое лицо, обрамленное прекрасными вьющимися волосами, словно париком времен Людовика XIV.

— Не следует ли на этот раз,— сказал он,— повторяя прежние призывы, соблюсти сдержанность, которую позволяет настоящее положение светской власти, потрясенной междуособными раздорами и неспособной дать своим союзникам то, чего нет у нее самой,— я разумею продолжительность и устойчивость. Ибо вы не можете не видеть, монсиньор, что упадок парламентаризма...

Кардинал-архиепископ покачал головой.

— Не надо сдержанности, господин де Гуле, не надо никакой сдержанности. Вы преисполнены знаний и благочестия, но ваш старый пастырь может еще преподать вам кое-какие уроки благоразумия, прежде чем умереть и предоставить управление епархией вашему молодому рвеню. Разве можем мы пожаловаться на префекта Вормс-Клавлена? Он благосклонно относится к нашим школам и богоугодным заведениям. Разве не будем мы принимать завтра за своим столом дивизионного генерала и председателя суда? Кстати, покажите-ка мне меню!

Кардинал-архиепископ просмотрел меню, кое-что изменил, кое-что прибавил и отдал специальное распоряжение заказать дичь Ривуару — местному браконьеру.

Вошел слуга и подал на серебряном подносе визитную карточку.

Прочитав на карточке фамилию аббата Лантеня, ректора духовной семинарии, монсиньор обратился к своему викарию.

— Бьюсь об заклад,— сказал он,— что господин Лантень опять пришел с жалобами на господина Гитреля.

Аббат де Гуле встал, чтобы выйти из комнаты. Но монсиньор удержал его.

— Оставайтесь. Я хочу, чтоб вы разделили со мною удовольствие от речей господина Лантеня; он, как вы сами знаете, слышет первым проповедником в епархии. Ведь, если доверять общему мнению, его проповеди лучше ваших, дорогой господин де Гуле. Но я другого мнения. Между нами говоря, я не поклонник ни его напыщенного красноречия, ни его путаной учености. Он ужасно скучен, и я прошу вас остаться и помочь мне поскорее его спровадить.

Высокий, широкоплечий священник, мрачный, очень скромный, с обращенным внутрь себя взором, вошел в гостиную и поклонился.

При виде его монсеньор радостно воскликнул:

— А, господин аббат, добрый день! Мы с господином викарием как раз говорили о вас, когда мне доложили о вашем приходе. Мы говорили, что вы самый выдающийся проповедник в епархии и что ваши великопостные проповеди в храме святого Экзюпера несомненно свидетельствуют о великом даровании и великой учености.

Аббат Лантень покраснел. Он был чувствителен к похвалам, и враг рода человеческого мог проникнуть к нему в душу только вратами гордыни.

— Монсеньор,— ответил он, и лицо его на мгновение просияло улыбкой,— благосклонное одобрение вашего высокопреосвященства доставляет мне радость, тем более драгоценную, что она облегчает начало очень тягостного для меня разговора, ибо в качестве ректора семинарии я вынужден огорчить ваш отеческий слух жалобой.

Монсеньор прервал его:

— Скажите, господин Лантень, ваши великопостные проповеди были напечатаны?

— Им была посвящена статья в «Религиозной неделе» нашей епархии. Я тронут тем вниманием к моим апостольским трудам, которое вы, монсеньор, соблаговолили проявить. Да! я уже давно служу истине с церковной кафедры. Уже в тысяча восемьсот восьмидесятом году я отдавал свои проповеди, когда у меня бывали лишние, господину Рокету, который с тех пор достиг епископского сана.

— Ах, бедный наш господин Рокет,— улыбаясь, воскликнул монсеньор.— В прошлом году, отправившись *ad limina apostolorum* [\[1\]](#), я впервые встретил господина Рокета, спешащего в Ватикан и полного радостных упований; неделю спустя я увидел его в храме Святого Петра, где он черпал утешение, столь нужное ему после того, как ему было отказано в кардинальской шляпе.

— Но разве подобало,— спросил г-н Лантень голосом, свистящим как бич,— разве подобало возложить пурпур на плечи этого недостойного человека, не выдающегося чистотою нравов, не блещущего ученостью, вызывающего улыбку недалекостью своего ума, человека, вся заслуга которого в том, что он откушал телятины за одним столом с президентом республики на франкмасонском банкете? Если бы господин Рокет мог взглянуть на себя со стороны, он сам бы удивился тому, что стал епископом. В наши дни испытаний, пред лицом грядущего, полного

сладостных чаяний и страшных угроз, следовало бы создать духовенство, сильное своей волей и знанием. И сейчас монсиньор, я как раз собираюсь говорить с вашим высокопреосвященством о пастыре, неспособном нести бремя столь великих обязанностей, еще об одном таком же господине Рокете. Преподаватель красноречия в духовной семинарии, аббат Гитрель...

Монсиньор прервал его с напускной рассеянностью и, смеясь, спросил, не собирается ли аббат Гитрель тоже добиваться епископского сана?

— Что за мысль, монсиньор! — воскликнул аббат Лантень.— Да если бы этот человек волей случая попал в епископы, мы вернулись бы ко временам Каутиновым, когда недостойный священнослужитель осквернял престол святого Мартина.

Кардинал-архиепископ, уютно устроившись в своем кресле, сказал с добродушием:

— Каутин, епископ Каутин (он впервые слышал это имя), Каутин, который занимал престол святого Мартина. А вы уверены, что этот самый Каутин был такого зазорного поведения, как утверждают? Это интересная страничка истории галликанской церкви, и мне было бы очень любопытно узнать на этот счет мнение такого сведущего человека, как вы, господин Лантень.

Ректор семинарии выпрямился.

— Монсиньор, свидетельство Григория Турского о епископе Каутине не вызывает сомнений. Этот преемник блаженного Мартина вел такую роскошную жизнь и так расточал церковные сокровища, что к концу второго года его епископства все священные сосуды перешли в руки турецких евреев. И я недаром сопоставил имена Каутина и недостойного аббата Гитреля. Аббат Гитрель расхищает произведения искусства, деревянную резьбу, сосуды художественной чеканки, еще уцелевшие в сельских храмах, где они отданы на попечение невежественных членов приходского совета, и занимается он подобными грабежами ради евреев.

— Ради евреев? — переспросил монсиньор.— Что вы говорите?

— Ради евреев,— повторил аббат Лантень,— и ради обогащения гостиных господина префекта Вормс-Клавлена, иудея и франкмасона. Госпожа Вормс-Клавлен интересуется стариной. Через посредство аббата Гитреля она приобрела облачения, триста лет хранившиеся в ризнице Люзанской церкви, и, как мне передавали, пустила их на обивку мебели, на так называемые пуфы.



Монсиньор покачал головой.

— На пуфы! Но если отчуждение этих неупотребляемых нынче облачений было произведено согласно закону, я не вижу, в чем провинился епископ Каутин... то бишь аббат Гитрель, взяв на себя посредничество в этой законной сделке. Нет никаких оснований чтить как священные реликвии ризы благочестивых люзанских кюре. Нет никакого святотатства в том, чтобы продавать их обносками на обивку пуфов.

Господин де Гуле, уже некоторое время покусывавший перо, не мог подавить вздох недовольства. Его огорчало, что неверующие разоряют церкви, расхищая их художественные сокровища. Ректор семинарии продолжал с твердостью:

— Хорошо, монсиньор, если вам так угодно, оставим вопрос о торговле, которой занимается друг префекта-иудея господина Вормс-Клавлена; дозвоьте мне изложить вполне обоснованные жалобы на преподавателя красноречия в духовной семинарии. У меня два основных

обвинения. Я ставлю ему в вину: primo ^[2] — его убеждения, secundo ^[3] — его образ жизни. Я говорю, что ставлю ему в вину, primo — его убеждения, и это по четырем основаниям: primo...

Кардинал-архиепископ протянул обе руки, как бы умоляя избавить его от стольких пунктов.

— Господин Лантень, смотрите, мой викарий уже давно покусывает перо и делает мне отчаянные знаки, напоминая, что в типографии дожидаются нашего пастырского послания, которое нужно огласить в воскресенье по всем церквам епархии. Позвольте же мне окончить мое послание, которое, надеюсь, принесет некоторое утешение и духовенству и пастве.

Аббат Лантень поклонился и вышел в большой печали. После его ухода кардинал-архиепископ обратился к г-ну де Гуле:

— А я и не знал, что аббат Гитрель в дружбе с префектом. И я очень признателен ректору семинарии за эти сведения. Господин Лантень само чистосердечие; я ценю его искренность и прямоту. С ним знаешь, куда идешь...

Он поправился:

— ...куда мог бы пойти.

II

Аббат Лантень, ректор духовной семинарии, работал у себя в кабинете, выбеленные стены которого на три четверти были закрыты простыми некрашеными полками, уставленными унылыми рядами рабочих книг в сафьяновых переплетах,— творений отцов церкви в издании Миня, дешевых изданий св. Фомы Аквинского, Барония, Боссюэ. Мадонна в стиле Миньяра ^{3} висела над дверью, из-за старой позолоченной рамки торчала запыленная буксовая веточка. На выложенном красными плитками полу, вдоль окон, в ситцевых занавесках которых застоялся въедливый запах трапезной, чинно выстроились негостеприимные стулья, обитые волосяной материей.

Согнувшись над ореховым письменным столиком, ректор перелистывал классные журналы, которые показывал ему стоявший тут же аббат Перрюк, семинарский наставник.

— Я вижу,— сказал аббат Лантень,— что на этой неделе у одного воспитанника в спальне опять обнаружили припрятанные сласти. Подобные нарушения дисциплины повторяются слишком часто.

Действительно, семинаристы имели обыкновение прятать плитки шоколада в учебники. Они называли это «богословием Менье ^{4}». Ночью они собирались по двое, по трое у кого-нибудь в спальне, чтобы хорошенько полакомиться.

Аббат Лантень предложил наставнику искоренять это зло без всякой жалости.

— Такое нарушение дисциплины опасно, ибо может повлечь за собой гораздо более тяжкие проступки.

Он попросил журнал класса риторики. Но когда аббат Перрюк его подал, ректор отвратил взор. Мысль, что духовное красноречие преподает Гитрель, не отличавшийся строгостью нравов и убеждений, была ему противна. Он вздохнул про себя: «Когда же спадет пелена с очей кардинала-архиепископа и он узрит ничтожность этого пастыря?»

И отогнав от себя одну горькую мысль, он обратился к другой, не менее горькой.

— А Пьеданьель? — спросил он.

Фирмен Пьеданьель уже два года доставлял ректору непрерывное беспокойство. Это был единственный сын башмачника, ютившегося со своей лавчонкой между двумя контрфорсами церкви св. Экзюпера. Он

выделялся среди воспитанников семинарии своим блестящим умом. Характер у него был спокойный, и отметки по поведению он получал неплохие. Застенчивость и физическая слабость как будто служили порукой его нравственной чистоты. Но ум его был не богословского склада, и сам он не чувствовал влечения к духовному званию. Даже в вере он был нетверд. Аббат Лантень, великий знаток человеческой души, не так уж опасался для будущих священнослужителей бурных кризисов, подчас целительных, умиротворяемых божьей благодатью; напротив того, вялость духа, спокойного в своей непокорности, пугала его. Он считал почти безнадежно погибшей душу, сомневающуюся, но не ведающую мук от своих сомнений, влекомую к неверию по прирожденной склонности. Таким был даровитый сын сапожника. Ректору удалось как-то, внезапно прибегнув к одной из своих уловок, познать сущность этой натуры, скрытной и деликатной. Он с ужасом понял, что из всей семинарской премудрости Фирмен усвоил только красоты латинской речи, искусство софизмов и какой-то лирический мистицизм. С тех пор он считал его существом слабым и опасным, несчастным и дурным. И все же он любил этого мальчика, любил с нежностью, доходившей до слабости. Вопреки всему он ценил его как красу и гордость семинарии. Он любил его за обаятельный ум, изысканную и мягкую речь, даже за ласковость его бесцветных, близоруких, болезненно мигающих глаз. Порой ему хотелось видеть в нем жертву аббата Гитреля, умственная и душевная нищета которого несомненно оскорбляла и огорчала (он был в этом твердо убежден) способного и проницательного ученика. Он льстил себя надеждой, что в будущем, под лучшим руководством, из Фирмена, слишком слабого, чтобы пополнить ряды деятельных пастырей, столь необходимых сейчас церкви, все же выйдет Перейва или Жербе, один из тех пресвитеров, которые вносят в свое служение какую-то материнскую нежность. Но аббату Лантеню не было свойственно долго пребывать в приятном заблуждении. Он быстро отказался от такой слишком неверной надежды и сейчас видел в этом мальчике будущего Геру́ ^[5] или Ренана ^[6]. И холодный пот выступал у него на лбу. Он боялся выпестовать из своего воспитанника опасного врага истины.

Он знал, что молот, потрясший основы храма, был выкован в самом храме. Он часто говаривал: «Сила богословского образования такова, что только оно может породить великих нечестивцев: неверующий, который не прошел через наши руки, бессилён и не вооружен для насаждения зла; в наших стенах преподается вся наука, даже наука богохульства». От посредственных семинаристов он требовал только прилежания и

правдивости и был уверен, что сделает из них хороших священнослужителей. У избранных же он опасался пытливости, гордыни, порочной дерзости ума и даже слишком больших достоинств, ибо они погубили ангелов.

— Господин аббат,— вдруг сказал он,— покажите-ка отметки Пьеданьеля.

Семинарский наставник, послунив большой палец, перелистал журнал, а потом подчеркнул черным ногтем указательного написанные на полях строки:

«Г-н Пьеданьель ведет легкомысленные речи».

«Г-н Пьеданьель склонен к унынию».

«Г-н Пьеданьель избегает всяких физических упражнений».

Ректор прочел и покачал головой. Он перевернул страницу и прочел дальше:

«Г-н Пьеданьель написал плохую работу о единстве веры».

Тут аббат Лантень не выдержал:

— Единство веры, вот чего ему никогда не постичь! А между тем этой мыслью пресвитер должен проникнуться прежде всего, ибо я без всякого колебания утверждаю, что эта мысль всецело от бога и что она, так сказать, ярче всего выражает его для людей.

Он посмотрел на аббата Перрюка своим глубоким и мрачным взглядом.

— Единство веры, господин Перрюк,— мой пробный камень для испытания умов. Люди, пусть даже самые недалекие, но правдивые, делают из идеи единства логические выводы, а люди наиболее тонкие строят на этом принципе прекрасную философию. Я трижды говорил проповеди на тему о единстве веры, и богатство материала все еще приводит меня в трепет.

Он снова принялся за чтение:

«Г-н Пьеданьель завел тетрадь, которая была найдена у него в парте и которая содержит переписанные собственной рукой г-на Пьеданьеля отрывки из различных эротических стихотворений, сочиненных Леконт де Лилем и Полем Верленом, а также и другими вольнодумными стихотворцами, и выбор стихотворений указывает на крайнюю разнузданность мысли и чувства».

Он захлопнул журнал и в сердцах отодвинул его от себя.

— В наши дни и учености и ума достаточно,— вздохнул он,— а вот богословского духа нет.

— Господин ректор,— сказал аббат Перрюк,— экономам просил узнать,

можете ли вы его принять, не откладывая. Договор с мясником Лафоли истекает пятнадцатого этого месяца; ждут вашего распоряжения, возобновлять ли условия, которыми нашей семинарии хвалиться не приходится. Ведь вы, конечно, заметили, какую плохую говядину поставлял мясник Лафоли.

— Попросите сюда эконома,— сказал аббат Лантень.



И, оставшись один, он схватился за голову и вздохнул:

— O, quando finieris et quando cessabis, universa vanitas mundi? ^[4] Вдали от тебя, господи, мы только тени блуждающие. Нет большего прегрешения, как грех против единства веры. Помоги, господи, миру достичь этого благословенного единства.

Когда после полудня, во время большой перемены, ректор проходил по двору, семинаристы играли в мяч. Над усыпанной песком площадкой быстро мелькали головы с раскрасневшимися физиономиями, словно мячики, насаженные на черные перочинные ножички. Отрывистые, как у паяцев, движения, выкрики на всех деревенских говорах епархии. Наставник аббат Перрюк, подоткнув сутану, принимал участие в игре,

внося в нее весь пыл вырвавшегося на волю деревенского парня, охмелевшего от воздуха и движения; мощным ударом своего башмака с пряжкой он далеко посылал огромный кожаный мяч. Заметив ректора, играющие остановились. Г-н Лантень сделал знак продолжать игру. Он пошел по дорожке, обсаженной чахлыми акациями и окаймлявшей двор со стороны крепостного вала и поля. По пути ему повстречались три семинариста, которые прогуливались, взявшись под руки и разговаривая. Они обычно проводили так все перемены, и за это их прозвали «перипатетиками» ^[7]. Ректор окликнул одного из них, низкорослого, бледного, чуть-чуть сутулого подростка, с тонким насмешливым ртом и застенчивым взглядом. Тот сперва не расслышал, так что соседу пришлось подтолкнуть его локтем.

— Пьеданьель, ректор зовет.

Тогда Пьеданьель, подойдя к аббату Лантеню, поклонился ему — неловко и все же с какой-то грацией.

— Дитя мое,— сказал ему ректор,— вы будете прислуживать мне завтра за мессой.

Подросток покраснел. Прислуживать ректору за мессой считалось завидной честью.

Аббат Лантень, с требником подмышкой, отворил калитку и вышел в поле на прогулку обычной своей дорогой, пыльной дорогой, идущей вдоль вала и поросшей по обочинам чертополохом и крапивой.

Он думал:

«Что станется с бедным мальчиком, если его выгнать отсюда! Никакому ремеслу он не обучен, здоровья он слабого, хил и застенчив! А какое будет горе в лавчонке его калеки отца!»

Он шел по сухой каменистой дороге. Дойдя до креста у миссионерского дома, он снял шляпу, отер платком пот со лба и прошептал:

— Господи, вразуми меня — дабы я сотворил волю твою, как бы это ни было горько моему отцовскому сердцу!

На следующее утро, в половине седьмого, аббат Лантень кончал службу в пустой и безлюдной семинарской церкви. Только в боковом приделе старик причетник вставлял бумажные цветы в фарфоровые вазы у подножья позолоченной статуи св. Иосифа. Свет пасмурного дня уныло струился вместе с дождем за потускневшими окнами. Аббат Лантень, стоя слева от главного алтаря, читал последнее евангелие.

— «Et Verbum caro factum est» ^[5],— возгласил он, преклоняя колени.

Фирмен Пьеданьель, прислуживавший за литургией, тоже опустился

на колени на ступеньке, где стоял колокольчик, поднялся и после заключительных возгласов прошел впереди священника в ризницу. Аббат Лантень поставил чашу с антиминомом и подождал, пока прислужник поможет ему снять облачение. Фирмен Пьеданьель, поддавшись воздействию окружающей обстановки, переживал таинственное очарование этого момента — такого простого и в то же время торжественного. Душа его, умиленная и растроганная, с каким-то упоением отдавалась привычному величию обряда. Никогда еще не чувствовал он такого глубокого влечения стать священником и самому совершать литургию. Приложившись к стихарю и нарамнику, он аккуратно сложил их и, прежде чем уйти, подошел под благословение. Ректор, надевавший стеганую сутану, сделал ему знак повременить и посмотрел на него таким хорошим и ласковым взглядом, что юноша воспринял этот взгляд как благодеяние и благословение. После долгого молчания аббат Лантень сказал:

— Дитя мое, за литургией, во время которой вы по моей просьбе прислуживали мне, я молил господу бога ниспослать мне силы, дабы исключить вас из семинарии. Просьба моя услышана. Вы больше не принадлежите к числу воспитанников нашего заведения.

Фирмен оторопел от этих слов. Ему почудилось, будто пол уходит у него из-под ног. Сквозь слезы, застилавшие его глаза, ему смутно мерещилась безлюдная дорога, непогода, беспросветная нищенская и трудная жизнь, участь брошенного мальчика, которая пугала его, слабого и робкого. Он посмотрел на аббата Лантеня. Полная решимости нежность, умиротворенная твердость, душевный покой этого человека возмутили его. Внезапно в нем зародилось и выросло чувство, которое поддержало и укрепило его,— чувство ненависти к духовенству, ненависти несокрушимой и чреватой последствиями, ненависти, которая может заполнить всю жизнь. Не произнеся ни слова, он быстро вышел из ризницы.

III

Аббат Лантень, ректор духовной семинарии в городе ***, писал монсеньору кардиналу-архиепископу следующее письмо:

«17-го числа сего месяца, когда я удостоился чести быть принятым вами, ваше преосвященство, я побоялся злоупотребить вашей отеческой добротой и пастырским долготерпением, изложив с должной обстоятельностью дело, по которому я пришел докучать вам. Но так как дело это зависит от вашего высокого и мудрого решения и касается управления нашей епархией, которая числится одной из наиболее древних и славных провинций христианской Галлии, я почитаю своим долгом, зная вашу неусыпную справедливость, сообщить факты, судить о которых вы призваны со всей полнотой данной вам власти и с присущей вам мудростью.

Доводя эти факты до сведения вашего высокопреосвященства, я исполняю долг, который был бы тягостен моему сердцу, ежели бы я не знал, что исполнение долга всегда доставляет нашей душе неистощимый источник отрады и что повиноваться воле божьей подобает с готовностью и радостью.

Факты, с которыми мне, монсеньор, надлежит вас ознакомить, касаются аббата Гитреля, преподавателя духовного красноречия в нашей семинарии. Я перечислю их как можно более кратко и точно.

Факты эти относятся:

I. к убеждениям,

II. к образу жизни аббата Гитреля.

Сперва я перечислю факты, относящиеся к убеждениям аббата Гитреля.

Читая записки, по которым он ведет курс духовного красноречия, я усмотрел там утверждения, расходящиеся с церковной традицией.

1. Аббат Гитрель, осуждая выводы толкователей священного писания, неверующих и так называемых реформатов, не осуждает самого факта толкования, вследствие чего впадает в глубокое заблуждение, ибо очевидно, что если неприкосновенность священного писания доверена церкви, то только церкви дано право толковать книги, которые она одна хранит.

2. Аббат Гитрель, соблазненный недавним примером некоего богослова, домогавшегося похвал века сего, пытается толковать

евангельские события с точки зрения так называемого „местного колорита“ и ложной „психологии“, которой щеголяют немцы; а сам того не замечает, что, следуя по стезе неверующих, ходит по краю поглотившей их бездны. Я злоупотребил бы милостивым вниманием вашего высокопреосвященства, ежели бы утруждал ваше зрение чтением тех мест, где аббат Гитрель с достойным жалости простодушием исследует по рассказам путешественников „судоходство на Тивериадском озере“ [\[8\]](#), или же мест, где он с недопустимой дерзостью описывает то, что называет „душевным состоянием“ и „психическими кризисами“ господина нашего Иисуса Христа.

Эти нелепые новшества, достойные порицания даже у добропорядочного мирянина, нетерпимы у лица духовного, которому вверено воспитание будущих пресвитеров. Вот почему я был скорей огорчен, чем удивлен, когда узнал, что один способный воспитанник семинарии, которого я вынужден был затем исключить за вредное направление мыслей, называл преподавателя красноречия „модернизированным священником“.

3. Аббат Гитрель с достойной порицания благосклонностью опирается на шаткий авторитет Климента Александрийского [\[9\]](#), не причтенного к лику святых. Это свидетельствует, насколько недалек преподаватель красноречия, соблазненный примером так называемых спиритуалистов, которые полагают, будто в „Stromates“ [\[6\]](#) дано исключительно аллегорическое толкование самых основных таинств христианской веры. Тем самым аббат Гитрель, если и не впадает в полное заблуждение, то проявляет непоследовательность и легкомыслие.

4. А так как одним из следствий шаткости убеждений является порча вкуса и ум, отказываясь от здоровой пищи, насыщается легкой едой, то аббат Гитрель и предлагает своим ученикам образцы красноречия, которые черпает даже в духовных беседах г-на Лакордера [\[10\]](#) и в толкованиях евангелия г-на Гратри [\[11\]](#).

Далее я изложу факты, относящиеся к образу жизни аббата Гитреля.

1. Аббат Гитрель посещает г-на префекта Вормс-Клавлена тайно, однако усердно, чем нарушает сдержанность, которую лицо духовное низшего ранга всегда обязано соблюдать по отношению к светским властям, сдержанность, нарушать которую при существующих обстоятельствах, да еще по отношению к чиновнику иудею, нет никаких оснований. Уж одно то, что г-н Гитрель старается проскользнуть в префектуру с черного хода, указывает, что он сам сознает свое ложное положение, и тем не менее он не собирается его изменять. К тому же всем

известно, что аббат Гитрель оказывает супруге префекта услуги скорее коммерческого, чем религиозного порядка. Эта дама очень интересуется стариной и, несмотря на свое иудейское происхождение, никогда не упустит случая приобрести предмет церковного обихода, если это предмет старинный или художественной работы. К несчастью, достоверно известно, что аббат Гитрель за бесценок скупает по деревенским церквям для г-жи Вормс-Клавлен старинную церковную утварь, которая находится на попечении невежественных приходских советов. Таким образом, монсиньор, деревянная скульптура, церковное облачение, дароносицы, чаши изымаются из ризниц сельских храмов вашей епархии и перекочевывают в префектуру для украшения личной квартиры г-на Вормс-Клавлена и его супруги. И ни для кого не тайна, что г-жа Вормс-Клавлен обила великолепными и всеми чтимыми ризами Сен-Поршерской церкви мебель, в общежитии именуемую „пуфами“. Я не утверждаю, что аббат Гитрель извлекает из этой коммерции какую-либо непосредственную выгоду для себя лично, но ваше пастырское сердце, монсиньор, должно опечалить уже одно то, что священнослужитель вверенной вам епархии способствует расхищению именно тех церковных сокровищ, которые даже в глазах неверующих являются доказательством превосходства христианского искусства над искусством мирским.

2. Аббат Гитрель не опровергает и не пресекает все более и более распространяющийся слух, будто возведение его на пустующий престол епископа туркуэнского желательно г-ну министру юстиции и культов, председателю совета министров. Слух же этот оскорбителен для министра, ибо хоть он и вольнодумец и франкмасон, все же, будучи поставлен светским защитником церкви, он должен принимать близко к сердцу ее интересы и поэтому не может посадить на престол блаженного Лупа такого пастыря, как аббат Гитрель. А если проследить, откуда идут эти слухи, то как бы не оказалось, что выдумал и распустил их сам аббат Гитрель.

3. В свое время аббат Гитрель посвящал досуги стихотворным переводам на французский язык „Буколик“ латинского поэта, именуемого Кальпурнием, которого лучшие знатоки единогласно относят к числу самых пошлых и напыщенных стихотворцев, и теперь аббат Гитрель с небрежной беспечностью (хотелось бы думать — совершенно не злостной) втихомолку распространяет этот труд своей юности. Экземпляр „Буколик“ был послан в радикальную и вольнодумную газету нашего округа „Маяк“, опубликовавшую некоторые выдержки, где имеется, например, такая строчка, что я краснею, предлагая ее отеческому взору вашего высокопреосвященства:

И грудь возлюбленной — вот наши небеса!

Эту цитату „Маяк“ сопровождал весьма нелестными комментариями, относящимися к личной жизни и литературным вкусам аббата Гитреля. И редактор, вредное направление мыслей которого вам, монсиньор, слишком хорошо известно, воспользовался этой злосчастной строчкой, чтобы обвинить в сладострастных помыслах и непристойном поведении всех преподавателей духовной семинарии без исключения и даже вообще все духовенство нашей епархии. Вот почему, не вдаваясь в рассуждения о том, имел ли аббат Гитрель в качестве латиниста основание заниматься переводами из Кальпурния [\[12\]](#), я скорблю об огласке, которую получила его работа, ибо это повело к соблазну, что, я уверен, горше желчи и полыни для вашего сердца, исполненного христианской любви.

4. Аббат Гитрель завел привычку заходить ежедневно в пять часов пополудни в кондитерскую некоей Маглуар, что на площади св. Экзюпера. И там он внимательно и усердно разглядывает тарелки и блюда со сладостями, расставленные на прилавке, на полках и столах. Затем, остановившись около пирожных, которые, как мне сказали, именуются „эклерами“ и „ромовыми бабами“, он касается кончиком пальца сперва одного, а затем другого пирожного и просит завернуть ему в лист бумаги эти лакомства. Я далек от мысли обвинять его в чревоугодии за то, что он с такой смешной тщательностью выбирает пирожные с кремом или какое другое печенье. Но, если принять во внимание, что он захаживает к кондитерше Маглуар как раз в тот час, когда модная публика обоего пола наполняет лавку, и что таким образом он выставляет себя на посмешище перед светским обществом, то невольно задаешь себе вопрос, не оставляет ли преподаватель красноречия некоторую частицу своего достоинства у кондитерши. И в самом деле, от внимания недоброжелательных наблюдателей не ускользнуло, что выбирает он именно два пирожных, и в городе уже поговаривают,— с основанием или без основания, судить не берусь,— будто аббат Гитрель берет одно пирожное для себя, а другое для своей служанки. Разумеется, он может, не вызывая тем ни малейшего нареkania, делиться сладостями с женщиной, ведущей его хозяйство, тем более, если эта женщина уже достигла канонического возраста. Но злые языки истолковывают в самом нежелательном смысле подобные простые, домашние отношения, и я, монсиньор, никогда не позволю себе повторить в присутствии вашего высокопреосвященства то, что толкуют в городе об аббате Гитреле и его служанке. Я не хочу вникать в эти пересуды. Все же

вы, ваше высокопреосвященство, согласитесь, что непростительно аббату Гитрелю таким зазорным поведением придавать клевете подобие истины. Я изложил факты. Теперь мне осталось только сделать выводы.

Имею честь просить вас, ваше высокопреосвященство, отрешить аббата Гитреля (Иоахима) от должности преподавателя духовного красноречия в семинарии города ***, основываясь на признанной за вами государством (декрет от 17 марта 1808 года) духовной власти.

Соблаговолите, монсеньор, не лишать вашей отеческой любви того, на кого возложено управление вашей семинарией и кто от всей души желает дать вам доказательство безграничной преданности и глубокого уважения, с которыми имею честь пребывать вашего высокопреосвященства покорным и послушным слугою.

Лантень».

Окончив письмо, ректор семинарии запечатал его своей печатью.

IV

Аббат Гитрель, преподаватель духовного красноречия в семинарии города ***, действительно постоянно виделся с г-ном префектом Вормс-Клавленом и его супругой, урожденной Кобленц. Все же аббат Лантень ошибался, полагая, что аббат Гитрель бывает в гостях у префекта; там его присутствие в одинаковой мере обеспокоило бы и архиепископство и масонские ложи,— префект был председателем ложи Восходящего солнца.

Аббат Гитрель заходил каждую субботу в пять часов в кондитерскую Маглуар, что на площади св. Экзюпера, и покупал там два пирожных по три су каждое, одно для своей служанки, другое для себя; там-то он и встретился с супругой префекта, которая в обществе г-жи Лакарель, жены правителя канцелярии у г-на Вормс-Клавлена, кушала ромовую бабу.

Преподаватель церковного красноречия сразу понравился г-же Вормс-Клавлен обходительностью и в то же время скромностью своих манер, суливших очень многое и ничем не отпугивающих. И внутренним и даже внешним своим обликом, несколько бабьим, он напомнил ей торговку подержанным платьем, дружески опекавших ее в тяжелые дни молодости, прошедшей в Батиньоле и на площади Клиши, когда она, Ноэми Кобленц, была уже на возрасте и зря прозябала в посреднической конторе своего отца Исаака, которого донимала полиция то описью имущества, то обысками. Мадам Вашри, одна из этих комиссионерш, оценившая ее по достоинству, свела ее с молодым, энергичным и подающим надежды кандидатом юридических наук, г-ном Теодором Вормс-Клавленом, который, найдя, что она серьезна и может быть полезной спутницей жизни, женился на ней после того, как она родила ему дочь Жанну. Ноэми в свою очередь легко продвинула его на служебном поприще. Аббат Гитрель очень напоминал мадам Вашри: тот же взгляд, тот же голос, те же движения. Это сходство, которое г-жа Вормс-Клавлен восприняла как хорошее предзнаменование, сразу внушило ей симпатию. Впрочем, она вообще уважала католическое духовенство, видя в нем одного из властителей мира сего. Она взяла под свое покровительство аббата Гитреля и замолвила за него словечко мужу. Г-н Вормс-Клавлен признавал за женой добродетель, так и оставшуюся для него таинственной и непостижимой,— житейский такт,— и верил в ее умение устраивать дела. Он с первого же раза благосклонно отнесся к аббату Гитрелю, встретив его в ювелирной лавке Рондоно-младшего, что на улице Тентельри.

Префект зашел туда посмотреть модели кубков, заказанных государством для призов на бегах, которые устраивало Общество поощрения рысистого коннозаводства. С тех пор он частенько заглядывал в ювелирную лавку, куда его влекла врожденная любовь к благородному металлу. Аббату Гитрелю тоже нередко случалось захаживать к Рондоно-младшему, золотых дел мастеру, торговавшему церковной утварью: паникадилами, лампадами, дароносицами, чашами, дискосами, потирами, ковчежцами для мощей и дарохранительницами. Префект и аббат не без удовольствия встречались в помещении второго этажа, вдали от любопытных взоров, перед прилавками, заставленными слитками металла, церковной утварью и статуэтками святых, которые г-н Вормс-Клавлен называл «божественностями». Развалившись в единственном кресле Рондоно-младшего, префект помахал ручкой аббату Гитрелю, который шмыгал от витрины к витрине, жирный и черный, похожий на откормленную крысу.

— Здравствуйте, господин аббат! Рад вас видеть!

И он не лгал. Он смутно чувствовал, что около этого священнослужителя, вышедшего из недр крестьянства и по своему духовному сану и по типу такого же исконно французского, как почерневшие от времени камни церкви св. Экзюпера и вековые деревья на городском валу, что около этого священнослужителя он сам офранцузится, натурализуется, стряхнет с себя тяготеющее над ним наследие Германии и Азии. Близость с представителем духовенства льстила ему. Сам того не сознавая, он упивался возмездием. Ему представлялся пикантной и лестной победой тот факт, что он, еврей, оказывал свое высокое покровительство человеку, удостоенному тонзуры, одному из тех людей, которые вот уже восемнадцать веков и небом и землей поставлены гнать и уничтожать обрезанных. Кроме того, этот всеми уважаемый аббат в поношенной лоснящейся сутане, который почтительно склонялся перед ним, бывал в дворянских усадьбах, где префект не был принят. Местные аристократки читали сутану, смирявшуюся перед чиновничьим мундиром. Уважение представителя духовенства в какой-то мере заменяло ему уважение провинциального дворянства, которое еще держалось несколько отчужденно и болезненно давало чувствовать свое холодное презрение префекту иудею, хотя его и не так-то легко было пронять. Аббат Гитрель при всем своем смирении был себе на уме и знал цену своей почтительности.

Этому церковному дипломату, почитающему мирскую власть, префект платил за почет благоволением и ронял примирительные слова:

— Ну, конечно, бывают хорошие священники, преданные своему делу и разумные. Если духовенство не выходит за пределы того, что подлежит его ведению...

И аббат Гитрель поддакивал.

Господин Вормс-Клавлен продолжал:

— Республика не ведет систематической войны с духовенством. И если бы конгрегации [{13}](#) подчинились закону, они избегли бы многих неприятностей.

Аббат Гитрель возражал:

— Тут можно подойти с точки зрения права. Я бы покончил с этим вопросом в пользу конгрегаций. А можно подойти и с точки зрения дела. Конгрегации делали много добра.

Префект, окутанный дымом сигары, изрекал:

— Что там говорить о прошлом! Зато новый дух — это дух примирения.

И г-н Гитрель опять поддакивал, меж тем как Рондоно-младший склонялся над своими конторскими книгами, а мухи садились ему на лысину.

Однажды г-жа Вормс-Клавлен зашла с мужем к Рондоно-младшему: префект хотел знать ее мнение о кубке, который он должен был собственноручно передать победителю на бегах. В лавке ювелира она встретилась с аббатом Гитрелем. Он сделал вид, что собирается уходить. Но его попросили остаться. Поинтересовались даже его мнением о нимфах, изогнутые тела которых служили ручками кубку; префект предпочел бы амазонок.

— Ну, разумеется, амазонок,— пробормотал преподаватель духовного красноречия.

Супруге префекта больше бы нравились кентаврессы.

— Ну, конечно, кентаврессы,— поддакнул аббат,— или, пожалуй, кентавры.

А Рондоно-младший, с улыбкой восхищения на лице, показывал присутствующим восковую модель.

— Господин аббат,— спросил префект,— церковь все еще запрещает наготу в искусстве?

Господин Гитрель ответил:

— Церковь никогда не запрещала пользоваться обнаженной натурой, но она всегда разумно ограничивала это увлечение.

Госпожа Вормс-Клавлен взглянула на аббата и подумала, что он похож на комиссионершу Вашри, похож поразительно. Она призналась ему, что

обожает всякие безделушки, сходит с ума по парче, рытому бархату, золотым позументам с церковных одеяний, вышивкам и кружеву. Она не утаила той жадности к вещам, которая накопилась у нее в душе еще со времен ее нищенской молодости, когда она часами простаивала перед витринами лавок, торгующих случайными вещами, в квартале Бреда. Она поведала ему, что спит и видит обить свою гостиную старинными ризами и облачениями и что она также равнодушна к старинным драгоценностям.

Аббат ответил, что церковные облачения действительно незаменимые образцы для художников и этим подтверждается тот факт, что церковь никогда не была враждебна искусству.

С этого дня аббат Гитрель пустился на розыски остатков пышной старины по ризницам сельских храмов, и не проходило недели, чтобы он не выманил у какого-нибудь простодушного кюре и не принес за пазухой к Рондоно-младшему ризы или нарамника. Впрочем, он был очень щепетилен и тут же вручал ограбленному церковно-приходскому совету сто су, уплаченные префектом за шелк, парчу, бархат или золотое шитье.

Через полгода гостиная г-жи Вормс-Клавлен походила на соборную ризницу, в ней даже стоял упорный запах ладана.

Однажды летним днем аббат Гитрель поднялся, как обычно, по лестнице в ювелирную лавку и увидел там г-на Вормс-Клавлена, благодушно покуривавшего сигару. Накануне префект провел своего кандидата — коннозаводчика, молодого монархиста из «присоединившихся» [{14}](#), и рассчитывал на одобрение министра, который в душе предпочитал старым республиканцам новых, менее требовательных и более смиренных. Префект был так упоен своей удачей, что похлопал аббата по плечу.

— Господин аббат, вот бы нам побольше таких пастырей, как вы, просвещенных, терпимых, без предрассудков,— ведь у вас-то нет предрассудков,— понимающих требования сегодняшнего дня и нужды демократического общества! Если бы епископат, если бы все французское духовенство прониклось прогрессивными и в то же время консервативными началами, которые проводит республика, оно могло бы еще играть значительную роль.

И, попыхивая толстой сигарой, он стал высказывать о религии мысли, свидетельствующие о таком невежестве, что аббат Гитрель внутренне ужаснулся. Между тем префект считал себя большим христианином, чем многие христиане, и языком масонских лож восхвалял этическое учение Иисуса и отвергал, без разбору валя в одну кучу, местные суеверия и основные догматы религии, иголки, которые девушки на выданье бросают

в купель св. Фала, и пресуществление в евхаристии. Аббат Гитрель, вообще сговорчивый, не уступал там, где дело касалось догматов. Он пролепетал:

— Надо различать, господин префект, надо различать.

Чтобы перевести разговор на другую тему, он вытащил из кармана своей стеганой сутаны свернутый в трубочку пергамент и развернул его на прилавке. Это был большой лист из книги церковных песнопений с готическим текстом под четырьмя нотными линейками, с красным орнаментом и разукрашенной начальной буквой.

Префект уставился на лист большими, выпуклыми, как стеклянные шары, глазами. Рондоно-младший вытянул свою розовую лысую голову.

— Миниатюра на инициале довольно тонкой работы,— сказал он.— Ведь это святая Агата?

— Мучение святой Агаты,— подтвердил аббат Гитрель.— Вот палачи терзают раскаленными щипцами сосцы святой.

И он прибавил медоточивым голосом:

— По достоверным свидетельствам, блаженную Агату подвергли по приказанию проконсула именно такому мучительству. Это листок из книги антифонов, господин префект — так, пустячок, но, может быть, и ему найдется местечко в коллекциях вашей супруги, ведь она очень любит древности нашей христианской церкви. Эта страничка — отрывок из службы в день святой Агаты.

И он прочитал латинский текст, особенно выделяя ударные слоги:

«Dum torqueretur beata Agata in mamilla graviter dixit ad iudicem: „Impie, crudelis et dire tyranne, non es confusus amputare in femina quod ipse in matre suxisti? Ego habeo mamillas integras intus in anima quas Domino consecravi“» [\[7\]](#).

Префект, имевший звание бакалавра, с грехом пополам понял и, всячески стараясь блеснуть галльским остроумием, заметил, что это пикантно.

— Наивно,— мягко возразил аббат Гитрель,— наивно!

Господин Вормс-Клавлен согласился, что средневековая речь действительно отличалась наивностью.

— И также величием,— заметил аббат Гитрель.

Но префект по-прежнему был склонен усматривать в этой церковной латыни какую-то игривость; усмехнувшись хитро и упрямо, он сунул лист в карман и поблагодарил своего дорогого Гитреля за находку.

Затем, отведя аббата к окну, шепнул ему на ухо:

— Дорогой Гитрель, при первом же удобном случае я что-нибудь для вас сделаю.

В городе была партия, которая открыто называла аббата Лантеня, ректора духовной семинарии, пастырем, достойным епископского сана и могущим с честью занять пустующую туркуэнскую кафедру, а затем, после смерти монсиньора Шарло, вернуться в митре, с посохом в руке и с аметистовым перстнем на пальце в главный город епархии, бывший свидетелем его деяний и добродетелей. Таков был проект всеми уважаемого г-на Кассиньоля, бывшего председателя суда, ныне вот уже целых двадцать пять лет носящего звание почетного советника. К нему присоединялись г-н Лерон, товарищ прокурора, уволенный в эпоху декретов, а теперь адвокат городского суда, и аббат де Лалонд, бывший полковой священник, ныне священник в женском монастыре; все трое принадлежали к весьма уважаемым, но не особенно влиятельным лицам в городе и представляли собой почти всю партию аббата Лантеня. Ректор семинарии был зван на обед к председателю суда Кассиньолю, и тот сказал ему в присутствии аббата Лалонда и г-на Лерона:

— Господин аббат, выставляйте свою кандидатуру. Ни у кого не хватит совести колебаться, когда надо будет делать выбор между господином Гитрелем и аббатом Лантенем, который так благородно служит церкви и христианской Франции и словом и пером, который со всей силой своего дарования и энергии поддерживает столь часто попираемые в церкви католической права галликанской церкви. Кажется, на этот раз нашему городу выпала честь дать епископа Туркуэну, и верующие согласны временно расстаться с вами ради пользы епархии и нашей христианской родины.

И почтенный г-н Кассиньоля, которому пошел восемьдесят шестой год, прибавил с улыбкой:

— Мы еще увидимся, я в этом твердо уверен. Из Туркуэна вы вернетесь к нам, господин аббат.

Аббат Лантень ответил:

— Господин председатель, добиваться этой чести я не буду, но не буду и уклоняться от выполнения своего долга.

Он мечтал и надеялся получить престол всеми оплакиваемого епископа Дюклу. Но честолюбие умерялось в нем гордыней, и он ждал, чтобы ему предложили митру.

Как-то утром г-н Лерон зашел к нему в семинарию и сообщил, что

кандидатура аббата Гитреля может рассчитывать на успех в министерстве культов. По общему предположению кандидатура эта была обязана своим успехом усердным хлопотам префекта Вормс-Клавлена в министерских канцеляриях, где все франкмасоны были уже в заговоре. Он узнал это в редакции «Либерала», религиозной и умеренной местной газеты. Планы же кардинала-архиепископа пока еще никому не были известны.

Дело в том, что монсиньор Шарло не решался еще высказаться за или против какой-либо кандидатуры. Его врожденная осторожность с годами возросла. Может быть, он кого-либо и предпочитал, но предпочтения своего не выказывал. Он уже давно привык к притворству, которое стало для него таким же легким и приятным занятием, как ежедневная партия в безик с г-ном де Гуле. В сущности ему было все равно, кто из священников его епархии станет невикарным епископом. Но его всячески старались вовлечь в эти интриги. Префект г-н Вормс-Клавлен, с которым он вовсе не хотел портить отношений, намекнул ему об этом. Монсиньор ценил в аббате Гитреле ум и дух терпимости, которые тот не раз проявлял. С другой стороны, он считал этого аббата Гитреля способным на все. «Кто знает,— думал он,— а что как он вовсе не собирается в эту захолустную епархию северной Галлии, а замышляет стать здесь моим коадьютором? ^{15} И если я заявлю, что он достоин епископского сана, пожалуй, подумают, что я прочу его себе в коадьюторы?» Страх, как бы ему не назначили коадьютора, отравлял старость монсиньора Шарло. Что же касается аббата Лантеня, то у монсиньора были веские основания молчать и не высказывать своего мнения. Он не стал бы поддерживать его кандидатуру уже по одной той причине, что не верил в ее успех. Монсиньору Шарло не нравилось быть в стане потерпевших поражение. Кроме того, он ненавидел ректора семинарии. По правде говоря, эта ненависть в душе человека, такого кроткого и покладистого, как монсиньор могла быть даже полезна честолюбивым замыслам аббата Лантеня. Монсиньор Шарло согласился бы, чтоб ректор семинарии стал епископом и даже папой, только бы от него избавиться. Добродетель, ученость и красноречие аббата Лантеня стяжали ему громкую славу; высказываться против него было как будто не совсем пристойно. А монсиньор Шарло, пользовавшийся всеобщим расположением и старавшийся никого не восстановить против себя, дорожил мнением людей почтенных.

Господин Лерон не догадывался о тайных мыслях монсиньора, но он знал, что тот еще не сказал своего слова. Он полагал, что на старика можно повлиять и что обращение к его пастырским добродетелям не пропадет даром. Он настаивал, чтоб аббат Лантень, не откладывая, пошел к

архиепископу.

— Вы с сыновней почтительностью попросите у него совета на случай, если вам будет предложена туркуэнская епархия. Шаг этот вполне корректен и произведет прекрасное впечатление.

Аббат Лантень запротестовал:

— Мне подобает подождать более торжественного предложения.

— Что же может быть торжественнее, чем голос стольких ревностных христиан, которые называют ваше имя с единодушием, напоминающим тот всенародный согласный выбор, которым в древности почтили Медара и Реми!

— Но, сударь,— возразил честный Лантень,— выбор, по обычаю ныне уже отмененному, исходил от верующих той епархии, управлять коей были призваны названные вами святые мужи. А туркуэнская паства, насколько мне известно, меня не выбирала.

Тогда адвокат Лерон сказал то, что следовало сказать с самого начала:

— Если вы не преградите дороги аббату Гитрелю, он получит епархию.

На следующее утро аббат Лантень накинул на плечи парадную мантию, складки которой развевались за его крепкой спиной, как крылья, и направился в архиепископский дворец, по дороге моля господа бога уберечь французскую церковь от незаслуженного позора.

Монсиньор только что получил письмо из нунциатуры с просьбой дать конфиденциальный отзыв об аббате Гитреле. Нунций не скрывал своего расположения к священнику, который слыл умным и ревностным, да к тому же еще хорошо ладил со светской властью. Монсиньор тут же продиктовал г-ну де Гуле благоприятный отзыв о кандидате нунция.

Как раз в эту минуту аббат Лантень подошел к нему под благословение. Монсиньор воскликнул своим приятным старчески дрожащим голосом:

— Аббат Лантень! Как я рад вас видеть!

— Монсиньор, я пришел попросить у вашего высокопреосвященства пастырского совета на тот случай, если святой отец обратит на меня свой благосклонный взгляд и укажет меня...

— Очень рад вас видеть, господин Лантень. Как кстати вы пожаловали.

— Осмелюсь попросить, если вы, ваше высокопреосвященство, не сочтете меня недостойным канди...

— Господин Лантень, вы выдающийся богослов и лучше других осведомлены в каноническом праве. Ваше слово — закон во всех

запутанных вопросах благочиния. В вопросах литургических и вообще богослужебных ваши советы поистине драгоценны. Не приди вы сейчас, я сам послал бы за вами,— господин де Гуле может это подтвердить. Именно сейчас мне так нужно ваше просвещенное суждение!

И монсиньор указал на стул своей подагрической рукой, привыкшей благословлять.

— Господин Лантень, будьте добры, выслушайте меня. Только что от меня ушел почтенный настоятель церкви святого Экзюпера господин Лапрюн. Надо вам сказать, что он, бедняга, нашел сегодня утром у себя в храме удавленника. Можете судить о его волнении! Он совсем потерял голову. Да я и сам нуждаюсь при подобных обстоятельствах в совете наиболее ученого пастыря моей епархии. Как быть? Скажите!

Аббат Лантень собрался с мыслями. Затем стал перечислять наставительным тоном церковные обряды, относящиеся к очищению храмов.

— Маккавеи, омыв храм, оскверненный Антиохом Епифаном в 164 году до рождества христового, отпраздновали его освящение. Таково происхождение праздника, именуемого «ханиша», что значит — обновление. И в самом деле...

И он начал развивать свою мысль.

Монсиньор слушал его с восторженным видом. А аббат Лантень без конца извлекал из неиссякаемого источника своей памяти тексты, относящиеся к обряду очищения храмов, примеры, доводы, толкования.

— От Иоанна, глава десятая, стих двадцать второй... Римский архиерейский обрядник... Бэда Достопочтенный, Бароний...

Он проговорил добрых три четверти часа, а затем кардинал-архиепископ добавил:

— Надо вам сказать, что удавленник был найден в тамбуре боковой двери, справа от алтаря.

— А внутренняя дверь тамбура была закрыта? — спросил аббат Лантень.

— Гм, гм! Не то, чтобы открыта,— ответил монсиньор,— но и не совсем закрыта.

— Приотворена, монсиньор?

— Вот именно! Приотворена.

— А удавленник, монсиньор, был в самом тамбуре? Необходимо установить этот очень существенный пункт. Вы, монсиньор, понимаете все его значение.

— Ну, конечно, господин Лантень... Господин де Гуле, кажется, одна

рука удавленника высунулась из-за двери в самый храм?

Господин де Гуле покраснел и пробормотал в ответ что-то невнятное.

— Мне помнится,— сказал монсиньор,— рука высунулась, во всяком случае часть руки.

Аббат Лантень пришел к выводу, что церковь св. Экзюпера была осквернена. Он привел подобные же примеры и рассказал, как поступили после вероломного убийства монсиньора архиепископа парижского {16} в церкви Сент-Этьен-дю-Мон. Он спустился в глубь веков, проследил эпоху революции, когда храмы были превращены в склады оружия, вспомнил Фому Бекета {17} и нечестивого Гелиодора {18}.

— Какие познания! Какая замечательная ученость! — сказал монсиньор.

Он встал и протянул аббату руку для поцелуя.

— Вы оказали мне неоценимую услугу, аббат Лантень. Поверьте, я очень высоко ставлю вашу ученость. Примите мое пастырское благословение. Прощайте.

И аббат Лантень, отпущенный ни с чем, спохватился, что он не успел вымолвить ни слова о важном деле, ради которого пришел. Но он был так полон отзвуком собственных речей, так горд своей ученостью и умом, так польщен, что, спускаясь по парадной лестнице, продолжал сам с собой рассуждать об удавленнике и доказывать необходимость неотложного очищения приходской церкви. И по дороге он размышлял все о том же.

Идя по кривой улице Тентельри, он повстречал настоятеля церкви св. Экзюпера, почтенного аббата Лапрюна, который, стоя перед лавкой бочара Ланфана, рассматривал пробки, у него прокисало вино, и он приписывал такую напасть тому, что бутылки были плохо закупорены.

— Какая жалость! — бормотал он,— какая жалость!

— Ну что, как ваш удавленник? — спросил аббат Лантень.

При этом вопросе достойный настоятель церкви св. Экзюпера вытаращил глаза и с удивлением спросил:

— Какой удавленник?

— Да ваш удавленник, тот несчастный самоубийца, которого вы нашли сегодня утром у себя в церкви, в тамбуре.

Кюре Лапрюн отшатнулся в испуге, не понимая после того, что услышал, кто из них двух рехнулся — он или аббат Лантень. Он ответил, что не находил никакого удавленника.

— Как! — воскликнул аббат Лантень, в свою очередь удивившись,— разве не нашли нынче утром человека, повесившегося в тамбуре в правом

притворе?

Кюре Лапрюн в знак отрицания два раза решительно мотнул головой, и на лице его отразилась святая правда.

Теперь уже аббат Лантень походил на человека, у которого кружится голова.

— Но ведь мне только сейчас кардинал-архиепископ сам сказал, что у вас в церкви нашли удушенника!

— Ах! — ответил аббат Лапрюн, сразу успокоившись, — монсиньор изволил шутить. Он большой охотник до шуток; он знает в них толк, но умеет держаться в границах приличия. Он так остроумен!

Но аббат Лантень, подняв к небу пылающий мрачным огнем взор, воскликнул:

— Архиепископ обманул меня! Неужели же этот человек говорит правду только на ступенях алтаря, когда, держа в руках святые дары, возглашает: «Domine, non sum dignus!» [\[8\]](#)

VI

С тех пор как генерал Картье де Шальмо потерял охоту к верховой езде и стал домоседом, он завел фишки на всю свою дивизию и разложил их по картонным коробочкам, которые каждое утро расставлял у себя на письменном столе, а по вечерам убирал на простые деревянные полки над своей железной койкой. Он вел счет своим фишкам с педантичной аккуратностью и радовался на их образцовый порядок. Каждая фишка изображала человека.

Вид, который приобрели теперь его офицеры, унтер-офицеры и солдаты, удовлетворял его врожденную любовь к аккуратности и соответствовал его миропониманию. Картье де Шальмо всегда был на хорошем счету. Генерал Паруа [{19}](#), под началом которого он служил, сказал: «У капитана де Шальмо способности повиноваться и приказывать уравниваются одна другую. Редкое и драгоценное качество, отличающее подлинного военного».

Картье де Шальмо всегда был человеком долга. Он был добросовестен и застенчив, обладал прекрасным почерком и теперь, наконец, нашел систему, соответствующую его способностям, и применял ее с непреклонной строгостью, командуя своей картонной дивизией.

Встав сегодня, как обычно, в пять часов утра, он после обливания сел за письменный стол, и, меж тем как солнце с величавой медлительностью вставало над вязами архиепископского сада, генерал командовал маневрами, передвигая свои картонные фишки, обозначавшие живых людей и в его глазах ничем от них не отличавшиеся, ибо он весьма почитал всякого рода значки.

Генерал уже три часа трудился над своими фишками, напрягая чело и мысли, столь же бледные и печальные, как и самые фишки, когда слуга доложил ему о приходе аббата де Лалонда. Тогда он снял очки, протер покрасневшие от напряжения глаза, встал и повернулся к двери. На его лице, когда-то красивом и до старости сохранившем определенность черт, появилось что-то вроде улыбки. Он протянул входившему гостю свою широкую руку, с почти гладкой ладонью, и отрывистым и невнятным голосом, что одновременно указывало на его застенчивость как человека и на его непогрешимость как командира, поздоровался с входившим.

— Как поживаете, дорогой аббат? Очень рад вас видеть.

И он пододвинул ему один из двух стульев, обитых волосяной

материей, которые составляли вместе с письменным столом и койкой скудную обстановку его чистой и светлой спальни.

Аббат сел. Это был удивительно живой старичок. На его морщинистом лице, напоминавшем выщербленный кирпич, драгоценными камнями сияли голубые детские глаза.

Минутку они, ничего не говоря, любовно смотрели друг на друга. Они были давнишними друзьями, товарищами по военной службе. Аббат де Лалонд, ныне священник в женской общине, раньше был полковым священником в том же гвардейском полку, которым в 1870 году командовал Картье де Шальмо; полк этот входил в N-скую дивизию и вместе со всей армией Базена ^{20} был окружен под Мецем.

Эти эпические и печальные дни оба друга вспоминали всякий раз, как они виделись, и всякий раз они говорили одни и те же слова.

На сей раз первым заговорил аббат:

— Помните, генерал, как мы тогда стояли под Мецем, без медикаментов, без фуража, без соли?..

Аббат Лалонд был самым непритязательным человеком в мире. Он едва ли даже ощущал недостаток в соли, но он очень страдал оттого, что не мог раздавать соль солдатам, как он раздавал им табак, в старательно свернутых пакетиках, и ему вспоминалось это тяжелое лишение.

— Ах, генерал, соли нехватало!

Генерал Картье де Шальмо ответил:

— До некоторой степени этот недостаток восполняли, примешивая к пище порох.

— Что ни говорите,— продолжал аббат де Лалонд,— а война ужасная вещь.

Этот бесхитростный друг солдат говорил так в простоте душевной. Но генерал не был согласен с осуждением войны.



— Позвольте, дорогой аббат! Война, конечно, жестокая необходимость, но на войне офицеру и солдату представляется случай проявить высочайшую доблесть. Не будь войны, никто бы не знал, что нет предела людскому терпению и мужеству.

И он прибавил со всей серьезностью:

— Библия установила законность войны, и вы лучше моего знаете, что бог назван в ней Саваофом, то есть богом воинств.

Аббат улыбнулся с простодушным лукавством, сверкнув тремя белыми, хотя и последними, зубами.

— Ну, я по-еврейски не понимаю... А у бога есть столько других более прекрасных имен, так что я, пожалуй, как-нибудь обойдусь и без этого имени... Увы, генерал, что за армия погибла под командованием этого несчастного маршала!..

При этих словах генерал Картье де Шальмо в сотый раз повторил одно и то же:

— Маршал Базен... Поймите же! Несоблюдение устава касательно места военных действий; нерешительность в командовании, достойная порицания; колебания в виду неприятеля,— а в виду неприятеля колебания недопустимы; капитуляция в открытом поле... Он заслужил свою участь. А потом, нужен был козел отпущения.

— Что касается меня,— возразил аббат,— я никогда ни единым словом не позволю себе очернить память этого несчастного маршала. Не мне судить о его поступках. И не мне, конечно, разглашать его ошибки, даже самые явные. Ведь он оказал мне благодеяние, которого я ему ввек не забуду.

— Благодеяние? — спросил генерал.— Он? Вам?

— О, такое большое, такое замечательное благодеяние! Он даровал

мне помилование одного несчастного солдата, драгуна, приговоренного к смерти заслушание. В память этого благодеяния я каждый год служу мессу за упокой души бывшего маршала Базена.

Но генерал Картье де Шальмо не поддавался.

— Капитулировать в открытом поле!.. Поймите... Он заслужил свою участь.

И чтобы отвести душу, генерал заговорил о Канробере ^{21} и о том, как стойко держалась N-ская бригада при Сен-Прива.

Аббат принялся вспоминать разные случаи, забавные и не лишённые назидательности:

— Да, Сен-Прива! Накануне боя приходит ко мне рослый детина, стрелок. Как сейчас его вижу: чёрный, в овчине. Кричит: «Завтра жарко придется. Чего доброго, и я живым не выйду. Отпустите мне грехи, господин кюре, да поскорей! А то мне еще лошадь почистить надо». Я ему: «Не хочу тебя задерживать, голубчик. Но все же тебе придется покаяться, в чем ты грешен. Ну, в чем грешен?» Он воззрился на меня с удивлением: «Во всем грешен!» — «Как во всем?» — «Да, во всем. Во всех грехах грешен». Я покачал головой: «Во всем, не многовато ли?.. Скажи, мать бил?» Тут мой кавалерист как разволнуется, как замашет руками, как начнет ругаться на чем свет стоит, как раскричится: «Господин кюре, за кого вы меня принимаете!» Ну, я ему в ответ: «Успокойся, голубчик, сам теперь видишь, что не во всем ты грешен...»

Так аббат добродушно вспоминал назидательные случаи из полковой жизни. А затем выводил мораль. Из хороших христиан выходят хорошие солдаты. Не следовало изгонять религию из армии.

Генерал Картье де Шальмо согласился.

— Я всегда так говорил, дорогой аббат. Уничтожая религию, вы уничтожаете воинский дух. По какому праву можно требовать от человека, чтобы он жертвовал жизнью, раз вы отнимаете у него надежду на загробное существование?

И аббат сказал с доброй, бесхитростной и радостной улыбкой:

— Вот увидите, к религии еще вернутся. К ней уже понемногу возвращаются. Люди не так испорчены, как кажется, а господь бог бесконечно милосерд.

И только теперь он изложил цель своего прихода.

— Я пришел попросить вас о большом одолжении.

Генерал Картье де Шальмо насторожился, и его лицо, и без того грустное, омрачилось. Он любил и уважал старичка аббата и хотел бы сделать ему приятное. Но даже мысль об одолжении пугала его, так как он

был до крайности щепетилен.

— Да, генерал, я пришел попросить вас потрудиться на благо церкви. Вы знаете аббата Лантеня, ректора нашей духовной семинарии. Это пастырь, выдающийся добродетелью и ученостью, великий богослов.

— Я несколько раз встречался с аббатом Лантенем. Он произвел на меня приятное впечатление. Но...

— О генерал, если бы вам довелось слышать его духовные беседы, вы были бы поражены его ученостью. Я-то мог оценить далеко не все. Тридцать лет жизни провел я, напоминая о господе боге бедным солдатам, лежащим на лазаретных койках. Утешал их табачком да словом божьим. А теперь вот уже двадцать пять лет как исповедую благочестивых монахинь; слов нет, они добродетельны, но характер у них куда хуже, чем у моих солдатиков. Мне некогда было читать отцов церкви; у меня ни ума, ни богословских знаний не достанет, чтоб оценить по заслугам аббата Лантеня. Он ходячая библиотека. Во всяком случае могу вас уверить, генерал, что у него слово не расходится с делом и дело с словом.

И старик священник, хитро подмигнув, прибавил:

— К сожалению, не все духовные лица таковы.

— И не все военные,— поддакнул генерал с невеселой улыбкой.

И они сочувственно взглянули друг на друга, так как оба не терпели происков и лжи.

Однако аббат де Лалонд не забыл, зачем пришел, и такими словами закончил похвалу аббату Лантеню:

— Он превосходный пастырь. Будь он военным, из него вышел бы превосходный солдат.

Но генерал вдруг спросил:

— Ну, что же я могу для него сделать?

— Помочь ему надеть фиолетовые чулки, которые он вполне заслужил. Выставлена его кандидатура на пустующий епископский престол в Туркуэне. Я прошу вас поддержать ее в министерстве юстиции и культов, мне говорили, будто вы лично знакомы с министром.

Генерал покачал головой. Он никогда и ничего не просил у правительства. Картье де Шальмо, монархист и христианин, относился к республике с глубоким, молчаливым и непоколебимым осуждением. Он не читал газет, ни с кем не разговаривал и принципиально презирал гражданскую власть, действиями которой не интересовался. Он повиновался и молчал. Окрестные помещики восхищались его скорбной покорностью, порожденной чувством долга, подкрепленной глубоким презрением ко всему невоенному, еще подчеркнутой из-за затрудненности

мысли и речи, которая становилась все заметнее и трогательнее по мере того, как усиливалась его болезнь печени.

Все знали, что в глубине души генерал Картье де Шальмо остался верен королевской власти. Но не все знали, что однажды, в 1893 году, он был поражен в самое сердце, поражен, как бы сказали христиане, той благодатью, которая молнией озаряет душу человека и в то же время переполняет ее глубоким и неожиданным умилением. Событие это случилось 4 июня в пять часов вечера в зале префектуры, убранном цветами, которые собственноручно поставила в вазы супруга префекта. Там президент Карно, бывший проездом в городе, принимал офицеров гарнизона. Генерал Картье де Шальмо, присутствовавший со своим штабом, впервые увидел президента и вдруг без каких-либо оснований, без видимых причин был охвачен потрясающим восторгом. Спокойная важность и целомудренная чопорность главы государства сразу сломили все его предрассудки. Он забыл, что перед ним штатский правитель. Он ощутил благоговение и любовь. Он вдруг почувствовал, что связан узами взаимного понимания и уважения с этим человеком, таким же, как и он, желтым и грустным, но величественным и невозмутимым, как монарх. По-военному проглатывая слог, быстро пробормотал он официальное приветствие, выученное наизусть. Президент ответил: «Благодарю вас от имени республики и родины, которой вы неподкупно служите». И тут вся преданность отсутствующему монарху, накопившаяся у генерала Картье де Шальмо за двадцать пять лет, хлынула из его сердца на президента, кроткое лицо которого поражало своей неподвижностью: он говорил печальным голосом, не шевеля ни щеками, ни губами, словно запечатанными черной бородой. В его восковом лице, с тусклыми честными глазами, в чахлой груди, через которую торжественно протянулась красная орденская лента, во всем его облике больного автомата генерал почувствовал величие главы государства и невзгоды несчастливца, не умеющего улыбаться. И восхищение соединилось в нем с нежностью.

Год спустя он узнал о трагической кончине президента, ради спасения которого охотно пожертвовал бы жизнью, и с тех пор мысленно представлял себе его неподвижным и черным, как знамя, скатанное вокруг древка, покрытое чехлом и поставленное в угол в казарме.

С той поры он потерял интерес к гражданским правителям Франции. Он знал только свое непосредственное начальство и повиновался ему с мрачной пунктуальностью. Его тяготило, что приходится отказывать аббату де Лалонду; поэтому он призадумался, а затем объяснил свои основания:

— Это вопрос принципа. Я никогда ничего не прошу у правительства.

Вы со мной согласны? Правда? Ведь когда поставишь себе что-либо за правило...

Аббат посмотрел на него, и грусть, словно облачко, набежала на его старческое, блаженно улыбающееся лицо.

— Ну, как я могу с вами согласиться, генерал, когда сам только и знаю, что о чем-нибудь прошу? Я ведь закоренелый попрошайка. Ради господ бога и ради бедных я обращался ко всем сильным мира сего, к министрам короля Луи-Филиппа, временного правительства, Наполеона Третьего, к министрам правительства нравственного порядка [{22}](#) и к теперешним республиканским властям. Все они помогли мне сделать доброе дело. И раз вы знакомы с министром культов...

В это мгновение в коридоре раздался крикливый голос:

— Цыпонька! Цыпонька!

И в комнату ураганом ворвалась дородная дама в пеньюаре, в венце из папильоток на седой голове. Это была жена генерала, звавшая его завтракать.

Она с властной нежностью встряхнула мужа, еще раз крикнув: «Цыпонька!», и тут только заметила старика аббата, прижавшегося к двери.

Она извинилась за небрежность туалета. По утрам хлопот не оберешься! Три дочери, два сына, сирота-племянник и муж — семеро детей на руках!

— Ах, сударыня, сам бог вас послал! — воскликнул аббат.— Вы мой ангел-хранитель!

— Я ваш ангел-хранитель?

Под серым капотом величественно вздымались могучие формы многодетной матери. Ее лоснящаяся усатая физиономия сияла гордостью почтенной матроны; по непринужденным движениям в ней сразу можно было признать расторопную хозяйку, у которой в руках все спорится, и в то же время светскую даму, привыкшую к знакам внимания. Она заслоняла собой генерала. Полина была его домашней фортуной и добрым гением; мужественной и твердой рукой вела она его бедный, но пышный дом, работала за прачку, за кухарку, за портниху, за горничную, воспитательницу, сиделку, даже за модистку, правда с несколько наивным пристрастием ко всему кричащему, а на званных обедах и приемах импонировала всем гостям непогрешимо хорошим тоном, величественным профилем и все еще красивыми плечами. Вся дивизия в один голос утверждала, что, ежели бы генерала сделали военным министром, генеральша с достоинством играла бы роль хозяйки дома, принимая гостей в особняке на Сен-Жерменском бульваре.

Кипучая деятельность генеральши не ограничивалась собственно семьей: она не жалела своих трудов на богоугодные дела и благотворительность. Генеральша Картье де Шальмо была попечительницей трех приютов и двенадцати богоугодных заведений, на которые указал ей кардинал-архиепископ. Монсеньор Шарло питал к ней особое расположение и не раз говорил с любезной улыбкой: «Вы — генеральша в армии христианского милосердия». И, как добрый христианин, монсеньор Шарло неизменно добавлял:

— Нет милосердия вне христианского милосердия. Ибо только церковь может разрешить социальные проблемы, которые поражают наш ум своей трудностью и непрестанно заботят мое пастырское сердце.

Так же думала и генеральша. Она была благочестива свыше всякой меры, всем напоказ, и часто в ее благочестии было что-то крикливое, как в цветах на ее шляпках и в звуке ее голоса. Ее шумная вера неудержимо выпирала наружу, как и грудь ее, вмещающая эту веру, и расцветала особенно пышным цветом в гостиных. Пылкостью своих религиозных чувств генеральша часто вредила мужу. Но ни он, ни она не обращали на это внимания. Генерал тоже был религиозен, что не помешало бы ему арестовать кардинала-архиепископа, будь на то приказ за подписью военного министра. Тем не менее демократы ему не доверяли. Даже сам префект, отнюдь не отличавшийся фанатизмом, считал генерала Картье де Шальмо человеком опасным. Виновата в этом была генеральша. Она была честолюбива, но исполнена чувства долга и неспособна отречься от господа бога.

— Как же я могу быть вашим ангелом-хранителем, господин аббат?

И узнав, что вопрос шел о кандидатуре на туркуэнскую епископскую кафедру весьма достойного и высоконравственного аббата Лантеня, она оживилась и тут же проявила готовность взяться за это дело.

— Вот такие епископы нам и нужны. Аббат Лантень должен получить епархию.

Старик аббат не дал остыть такому похвальному рвению.

— Сударыня, убедите генерала написать министру культов, он ведь с ним в хороших отношениях.

Она энергично тряхнула венцом из папильоток.

— Нет, господин аббат. Муж не станет писать. Незачем и настаивать. Он полагает, что военный не должен ни о чем просить. И он прав. Отец мой держался тех же взглядов. Вы знавали его, господин аббат, и помните, что он был достойным человеком и хорошим солдатом.

Бывший полковой священник хлопнул себя по лбу.

— Полковник де Бальни! Ну, как же, разумеется, знал. Он был герой и христианин.

Тут в разговор вмешался генерал.

— Мой тесть, полковник де Бальни, славился главным образом тем, что помнил наизусть весь кавалерийский устав тысяча восемьсот двадцать девятого года. Устав этот был так сложен, что мало кто из офицеров помнил его наизусть. Впоследствии он был отменен, и полковник де Бальни впал в уныние, что ускорило его кончину. Затем были введены новые уставы, значительно более простые, что надо считать их неоспоримым преимуществом. И тем не менее я постоянно задаю себе вопрос, не лучше ли было при прежнем положении дел. Надо быть требовательным к кавалеристу, иначе ничего от него не добьешься. То же самое и с пехотинцем.

И генерал принялся заботливо передвигать свою картонную дивизию, разложенную по коробочкам.

Генеральша не раз уже слышала эти слова. Она неизменно отвечала на них одним и тем же. И на этот раз она опять сказала:

— Цыпонька! Ну, как можешь ты говорить, будто папаша умер с горя, когда с ним случился удар во время смотра.

Старик аббат с простодушной хитростью перевел разговор на интересующую его тему:

— Ах, сударыня, ваш почтенный батюшка несомненно оценил бы аббата Лантеня по заслугам, и возведение этого пастыря в епископский сан отвечало бы его желаниям.

— И моим также, господин аббат,— сказала генеральша.— Муж не может и не должен предпринимать никаких шагов. Но я, если только вы думаете, что мое вмешательство может принести пользу, шепну словечко монсеньору. Нашего архиепископа я не боюсь.

— Конечно, одно слово из ваших уст...— пробормотал священник.— Монсеньор Шарло отнесется к нему благосклонно.

Генеральша заявила, что увидит архиепископа на освящении богоугодного заведения «Хлеб святого Антония», попечительницей которого она состояла, и что там...

Вдруг она спохватилась:

— Котлеты!.. Простите, господин аббат!..

Она выскочила на лестницу и оттуда громко отдала распоряжение кухарке. Потом вернулась в комнату.

— И там я отведу его в сторонку и попрошу замолвить нунцию словечко за аббата Лантеня. Ведь это как раз и требуется?

Старичок аббат сделал движение, как бы собираясь пожать ей обе руки.

— Именно это, сударыня. Да пребудет с вами святой Антоний Падуанский и да поможет вам убедить монсеньора Шарло. Это великий святой. Я имею в виду святого Антония... Напрасно дамы думают, будто он только и знает, что разыскивает потерянные драгоценности. У него на небесах есть дела поважнее. Куда лучше просить его о хлебе насущном для бедняков. Вы это поняли. «Хлеб святого Антония» — угодное богу дело. Надо будет поближе с ним познакомиться. Но упаси меня бог заикнуться об этом моим сестрам.

Он имел в виду сестер женской общины, где был духовником.

— У них и без того много богоугодных заведений. Они жены достойные, но они мелочны и придают слишком большое значение обрядам.

Он вздохнул, вспомнив то время, когда был полковым священником, трагические дни войны, вспомнив, как он сопровождал раненых, лежащих на лазаретных носилках, и вливал им в рот глоток водки, ибо обычно он осуществлял свое апостольское служение, раздавая водку и табак. И снова он поддался соблазну поговорить о битвах под Мецем и стал рассказывать разные случаи из военной жизни. Большинство их относилось к саперу по имени Лармуаз, уроженцу Лотарингии, малому, неистоцимому на выдумки.

— Я не рассказывал вам, генерал, что этот самый пройдоха сапер каждое утро приволакивал мне мешок картошки. Вот как-то я и спрашиваю, где он ее раздобыл. А он мне в ответ: «В неприятельских окопах». Я говорю: «Сумасшедший!» Ну вот он и объяснил, что среди немецких караульных отыскались у него земляки. «Земляки?» — «Да, земляки, из наших мест. Нас только граница и разделяет. Ну, обнялись, покалякали про родных, про знакомых. Они и говорят: «Бери картошки сколько душе угодно».

И аббат прибавил:

— Этот простой случай лучше всяких рассуждений убедил меня в несправедливости и жестокости войны.

— Да,— сказал генерал,— такое нежелательное общение наблюдается иногда, когда две армии стоят в непосредственной близости одна от другой. Это надо сурово пресекать, считаясь, конечно, с обстоятельствами.

VII

В этот вечер аббат Лантень, ректор духовной семинарии, гуляя по крепостному валу, встретил г-на Бержере, преподавателя филологического факультета, слывшего за человека умного, хотя и большого оригинала. Аббат прощал ему скепсис и охотно с ним беседовал, когда они встречались на валу под вязами, если только там не было других гуляющих. И г-ну Бержере тоже было интересно заглянуть в душу умного священника. Они оба знали, что их беседы на скамейке под вязами не нравились ни декану факультета, ни архиепископу. Но аббат Лантень презирал житейскую осмотрительность, а г-н Бержере, усталый, разочарованный, грустный, пренебрегал бесполезной осторожностью.

Он был неверующим, хотя, как человек деликатный и с хорошим вкусом, не щеголял своим неверием; а из-за богомольной жены и из-за дочерей, которые усердно изучали закон божий, в министерстве его считали клерикалом; добрые же католики и ревностные патриоты вменяли ему в вину кое-какие приписываемые ему речи. Обманувшись в своих честолюбивых надеждах, он хотел по крайней мере жить на свой лад и, не сумев стать приятным для своих сограждан, находил теперь удовольствие в том, что понемногу старался стать для них неприятным.

В этот тихий и светлый вечер г-н Бержере, увидев ректора семинарии, вышедшего на свою обычную прогулку, отправился ему навстречу до первых вязов городского сада.

— «Благоприятны мне места, где вас я встретил»,— сказал аббат Лантень, позволивший себе невинное кокетство — щегольнуть знанием литературы перед профессором университета.

В нескольких неопределенных фразах они выразили друг перед другом ту глубокую жалость, которую возбуждал в них сей мир. Только аббат Лантень оплакивал упадок этого древнего города, славившегося в средние века ученостью и философской мыслью, а ныне подпавшего под власть нескольких лавочников и франкмасонов; г-н же Бержере, наоборот, сказал:

— И тогда люди были такими же, как и сейчас, не очень хорошими и не очень плохими.

— Нет! — возразил аббат.— Люди были сильны духом и верой в ту пору, когда Раймунд Великий ^{23}, прозванный «доктор Бальзамикус», преподавал здесь в городе весь свод человеческих знаний.

Аббат и профессор сели на каменную скамейку, на которой уже сидели

молча два бледных и унылых старика. От скамейки до самых прибрежных тополей шел пологий зеленый склон, подернутый легкой дымкой.

— Господин аббат,— сказал профессор,— я, как и все, перелистал в городской библиотеке «Hortus» [\[9\]](#) и «Thesaurus» [\[10\]](#) Раймунда Великого. Кроме того я прочитал только что выпущенную книгу аббата Казо, посвященную Раймунду Великому. И вот что поразило меня в этой книге...

— Аббат Казо мой ученик,— перебил аббат Лантень.— Его книга о Раймунде Великом насыщена фактическими данными, что очень ценно; она опирается на догматы христианской веры, что достойно еще большей похвалы и что редко теперь встречается, ибо вера слабеет в нынешней грешной Франции, которая была самой великой страной, лишь пока она была и самой богословской.

— Книга господина Казо,— продолжал г-н Бержере,— заинтересовала меня с нескольких точек зрения. Не располагая богословскими познаниями, я, может быть, многого не понял. Но, по-моему, блаженный Раймунд, монах, строго придерживавшийся учения церкви, требовал признания за учителем права высказывать два противоположных суждения по поводу одного и того же предмета — одно богословское, согласное с божественным откровением, другое — чисто человеческое, основанное на опыте и рассуждении. Доктор Бальзамикус, суровая статуя которого украшает двор архиепископского дворца, утверждал, насколько я понял, будто один и тот же человек, исходя из опыта и рассуждений, может отрицать истины, которые, основываясь на вере, он признает и исповедует. И мне показалось, что ваш ученик, господин Казо, одобрял такую странную теорию.

Аббат Лантень, взволнованный этими словами, вытащил из кармана цветной шелковый платок, развернул его наподобие стяга, и, широко раскрыв рот, высоко подняв пылающее чело, ринулся в предложенный ему бой.

— Господин Бержере, я решаю в положительном смысле вопрос о том, можно ли иметь об одном и том же предмете два различных суждения: одно — богословское, то есть божественного происхождения, другое — выведенное путем рассуждений или путем опыта, то есть человеческого происхождения. И я берусь доказать законность этого кажущегося противоречия на самом простом примере. Иной раз, сидя в кабинете за столом, заваленном книгами и бумагами, вы говорите: «Уму непостижимо! сейчас только положил на этот самый стол нож для разрезания бумаги, а теперь не нахожу его. Я его вижу, мне кажется, что он у меня тут перед глазами, и я его не вижу». Размышляя так, господин Бержере, вы

высказываете об одном и том же предмете два противоположных суждения: одно, что ваш нож на столе, потому что должен там быть,— суждение, основанное на рассудке, другое — что ножа на столе нет, раз вы его там не находите,— суждение, основанное на опыте. Вот два несогласуемых суждения об одном и том же предмете. И они одновременны. В одно и то же время вы утверждаете присутствие и отсутствие ножа. Вы говорите: «Он тут, я в этом уверен»,— и в то же время ваш опыт устанавливает, что его нет здесь.

И закончив доказательство, аббат Лантень потряс своим клетчатым, испачканным в табаке платком, как ярким стягом схоластики.

Но он не убедил преподавателя филологического факультета. Тот без труда доказал всю порочность приведенного софизма; он ответил не громко, так как берег свой слабый голос, что, разыскивая нож, он ощущал не одновременно, а последовательно страх и надежду, вызванные неуверенностью, которая не могла быть продолжительной; ибо в конечном счете он обязательно установил бы, есть на столе нож или его нет.

— В вашем примере с ножом, господин аббат, нет ничего общего с тем противоречивым суждением, которое блаженный Раймунд, или господин Казо, или вы сами могли бы высказать о том или другом событии, изложенном в библии, одновременно утверждая и его достоверность и его ложность. Разрешите и мне привести пример. Я сошлюсь,— конечно, не потому, что хочу смутить вас, а просто потому, что этот пример сам собой напрашивается,— я сошлюсь на историю Иисуса Навина, остановившего солнце...

Господин Бержере облизнул губы и улыбнулся — в глубине души он был вольтерьянцем.

— ...на историю Иисуса Навина, остановившего солнце. Можете вы утверждать и то, что Иисус Навин остановил солнце, и то, что он его не останавливал?

Ректор семинарии, превосходный софист, несколько не смутился. Он обратил на противника пламя очей и дыхание уст своих:

— Со всеми особыми оговорками относительно истинного толкования, одновременно буквального и духовного, того места из «Книги Иисуса Навина», которое вы имеете в виду и на котором уже до вас опрометчиво споткнулись многие маловеры, я без колебания отвечу: «Да, у меня два разных суждения об этом чуде. Опираясь на данные физики, то есть на наблюдение, я верю, что земля вращается вокруг неподвижного солнца. А как богослов я верю, что Иисус Навин остановил солнце. Здесь есть противоречие. Но противоречие, легко устранимое. Я вам это сейчас

докажу. Наше представление о солнце чисто человеческое; оно относится только к человеку и не обязательно для бога. Для человека солнце не вращается вокруг земли. Согласен и всецело присоединяюсь к Копернику. Но не буду же я принуждать господа бога стать, как и я, последователем Коперника; и не буду же я доискиваться — вращается или не вращается для бога солнце вокруг земли. По правде говоря, я и без «Книги Иисуса Навина» знал, что человеческая астрономия не обязательна для бога. Теории времени, числа и пространства не охватывают бесконечность, и нелепо ловить духа святого на физических или математических трудностях.

— Значит,— спросил г-н Бержере,— вы допускаете, что даже в математике возможны два противоположных суждения — человеческое и божественное.

— Я далек от утверждения такой крайности,— ответил аббат Лантень. — Точность математики сближает ее с абсолютной истиной. Числа же опасны только постольку, поскольку разум, видя в них первопричину, может впасть в заблуждение и рассматривать всю вселенную лишь как систему чисел. Подобное заблуждение было осуждено церковью. Во всяком случае я без малейшего колебания утверждаю, что есть математика человеческая и математика божественная. Конечно, между ними не должно быть противоречия, и вы, надеюсь, не ожидаете услышать от меня, что для бога три плюс три равно девяти. Но нам неизвестны все свойства чисел, а богу они известны.

Я знаю духовных лиц, которых считают выдающимися и которые утверждают, что между наукой и богословием не должно быть противоречий. Мне противна такая дерзость, я сказал бы даже такое богохульство, потому что разве это не богохульство заставлять вечную, абсолютную истину применяться к несовершенной и временной истине, именуемой наукой? Это безумное стремление уподобить видимый мир — невидимому, тело — душе породило множество жалких и пагубных идей, в которых обнаружилось все безрассудство и слабость современных его апологетов. Один видный член ордена иезуитов допускает многочисленность обитаемых миров; он готов признать, что на Марсе и Венере живут разумные существа, лишь бы за землей сохранилось преимущество христианской веры, что делает землю исключительной и единственной в мироздании. Другой ученый богослов, с достоинством занимавший в Сорбонне ныне упраздненную кафедру богословия, допускает, что геологи могут найти следы преадамитов, и сводит сотворение мира, о котором учит библия, к устройству небольшой области вселенной для пребывания там Адама и его потомства. О тупое безумие! О

жалкая дерзость! О древнее, как мир, и уже стократ осужденное новшество! Посягательство на божественное единство! Не лучше ли, подобно Раймунду Великому и его историографу, утверждать невозможность слияния науки и религии, так же как относительного и абсолютного, конечного и бесконечного, тени и света?

— Господин аббат,— сказал профессор,— вы презираете науку.

Аббат покачал головой.

— Вовсе нет, господин Бержере, вовсе нет! Наоборот, я, по примеру святого Фомы Аквинского и всех великих учителей церкви, считаю, что науке и философии должно быть отведено почетное место в школах. Нельзя презирать науку и не презирать разума; нельзя презирать разум и не презирать человека; нельзя презирать человека и не оскорблять бога. Безрассудный скептицизм, нападающий на человеческий разум,— первая ступень к тому преступному скептицизму, который нападает на божественные тайны. Я почитаю науку за благодеяние, ниспосланное нам богом. Но если бог дал нам науку, это не значит, что он дал нам *свою* науку. Его геометрия — не наша геометрия. Наша геометрия ограничена плоскостью и пространством, его же безгранична. Он нас не обманул: вот почему я полагаю, что существует истинная человеческая наука. Он нам не все открыл: вот почему я утверждаю, что даже истинная наука бессильна и не может быть в полном соответствии с предвечной истиной. И каждый раз, как мне приходится сталкиваться с этим несоответствием, я подхожу к нему безбоязненно: оно не доказывает ничего противного небу или земле.

Господин Бержере признался, что такая теория представляется ему столь же остроумной, сколь смелой, и во всяком случае соблюдающей интересы церкви.

— Но,— прибавил он,— наш архиепископ мыслит иначе. В своих пастырских посланиях монсиньор Шарло охотно распространяется об истинах религии, подтвержденных научными открытиями, например опытами Пастера.

— О, его высокопреосвященство соблюдает евангельскую нищету, по крайней мере в философии,— ответил аббат гнусавым, свистящим от презрения голосом.

И в тот момент, как эти слова бичом рассекли воздух, по аллее мимо скамейки проплыла пузатая стеганая сутана, увенчанная широкополой шляпой.

— Говорите тише, господин аббат,— сказал преподаватель филологического факультета,— вас слышит аббат Гитрель.

VIII

Префект Вормс-Клавлен беседовал с аббатом Гитрелем в лавке Рондоно-младшего, ювелира и золотых дел мастера. Он развалился в кресле и положил ногу на ногу, задрал носок чуть не к самому подбородку смиренного аббата.

— Господин аббат, что там ни говори, а вы просвещенный пастырь; религия для вас свод моральных предписаний, необходимых правил, а вовсе не отжившие догматы, не таинства, просто нелепые и совсем не таинственные.

Аббат Гитрель усвоил правила поведения, превосходные для духовного лица. Одним из этих правил было молчать, чтоб избежать соблазна, и не выставлять на посмеяние безбожников истинную веру. И так как подобная осмотрительность соответствовала его душевному складу, он неуклонно соблюдал ее. Но префект не отличался деликатностью. Его большой мясистый нос, его толстые губы казались какими-то мощными насосами, все в себя вбирающими и поглощающими, а его срезанный лоб и бесцветные навывкате глаза говорили о полном отсутствии душевной чуткости. Он не унимался, выдвигал против догматов христианской религии аргументы, бывшие в ходу в масонских ложах и литературных кафе, и в заключение заявил, что умный человек не может поверить ни единому слову катехизиса. Потом он опустил свою большую руку, унизанную перстнями, на плечо аббата и сказал:

— Вы молчите, дорогой аббат; значит, вы со мной согласны.

Господину Гитрелю, в известной мере мученику за веру, пришлось исповедовать свои убеждения:

— Простите, господин префект; катехизис, эта тоненькая книжка, к которой в известных кругах считают нужным относиться с пренебрежением, содержит больше истин, чем толстые философские трактаты, нашумевшие на весь мир. Умозрительная ученость соединяется в катехизисе с поразительной простотой. Это не мое мнение; оно принадлежит выдающемуся философу, господину Жюлю Симону [\[24\]](#), который ставит катехизис выше платоновского «Тимея».

Префект не осмелился оспаривать мнение бывшего министра. К тому же он вспомнил, что его непосредственный начальник, нынешний министр внутренних дел, протестант. Он сказал:

— В качестве лица должностного я в равной мере уважаю все

вероисповедания: и протестантское и католическое. В качестве частного лица я человек свободомыслящий, и если уж говорить о предпочтении той или другой религии, то позвольте вам сказать, господин аббат, что я предпочел бы реформатскую.

Господин Гитрель ответил елейным голосом:

— Разумеется, среди протестантов есть люди высокой нравственности, осмелюсь даже сказать, люди, могущие служить примером, если судить о них с мирской точки зрения. Но так называемая реформатская церковь отсечена от живого тела церкви католической, и рана еще сочится кровью.

На префекта не подействовала выразительная цитата, заимствованная из Боссюэ; он взял толстую сигару, закурил, затем протянул портсигар г-ну Гитрелю:

— Не угодно ли, господин аббат?

Префект предложил сигару г-ну Гитрелю, желая смутить его и ввести в соблазн, ибо не имел ни малейшего понятия о церковных правилах и полагал, что курение запрещено духовенству. По своему невежеству он думал, что таким предложением введет аббата в грех, толкнет его на послушание, возможно даже на святотатство, чуть ли не на вероотступничество. Но г-н Гитрель спокойно взял сигару, бережно спрятал в карман своей ватной сутаны и добродушно сказал, что выкурит ее после ужина у себя в спальне.

Так беседовали в конторе ювелира префект Вормс-Клавлен и аббат Гитрель, преподаватель красноречия в духовной семинарии. Рондономладший, поставщик архиепископства, работавший также и на префектуру, молча присутствовал при их беседе, из деликатности не вмешиваясь в разговор. Он был занят деловыми письмами, и его гладкая лысина поблескивала среди торговых книг и образцов ювелирных изделий, наваленных на столе.

Вдруг префект встал, отвел аббата Гитреля в другой конец комнаты, к окну, и шепнул ему на ухо:

— Дорогой Гитрель, вам известно, что место епископа туркуэнского вакантно?

— Да,— ответил аббат,— я слышал о смерти монсиньора Дюклу. Для французской церкви это тяжелая утрата. Монсиньор Дюклу при всех своих достоинствах был чрезвычайно скромнен. Он отличался особым даром проповедника. Его пастырские поучения — образцы назидательного красноречия. Осмелюсь упомянуть, что знал его в Орлеане; тогда он был еще аббатом Дюклу, настоятелем церкви святого Эверта; в то время он достаивал меня своей благосклонностью и дружбой. Известие о его

преждевременной кончине было для меня тяжелым ударом.

Он замолк, опутив углы губ в знак скорби.

— Не об этом сейчас речь,— сказал префект.— Он умер; речь о том, что ему надо найти заместителя.

Господин Гитрель мгновенно преобразился. Глаза у него стали маленькими и круглыми, как бусинки, а сам он сделался похож на крысу, увидевшую в кладовой сало.

— Вы понимаете, дорогой Гитрель, что все это меня несколько не касается. Не я назначаю епископов. Я, слава богу, не министр юстиции, не нунций и не папа.

И он расхохотался.

— Кстати, в каких вы отношениях с нунцием?

— Нунций, господин префект, смотрит на меня с благосклонностью, как на послушное и почтительное чадо его святейшества папы. Но принимая во внимание то скромное положение, которое я занимаю и которое меня вполне удовлетворяет, я не льщу себя надеждой, что он особо отличает меня.

— Дорогой аббат, если я заговорил с вами об этом деле — но это останется между нами, не правда ли? — так только потому, что в Туркуэн будет послан священник из главного города вверенного мне департамента. Я знаю из достоверного источника, что на этот пост прочат аббата Лантеня, ректора духовной семинарии. Не исключена возможность, что мне предложат дать конфиденциальный отзыв о кандидате. Он ваше непосредственное начальство. Что вы о нем скажете?

Господин Гитрель ответил, опутив глаза:

— Не подлежит сомнению, что выдающиеся добродетели господина аббата Лантеня и свойственный ему драгоценный дар слова послужили бы украшением епископского престола, некогда освященного святым Лупом, просветителем Галлии. Его великопостное слово в церкви святого Экзюпера было оценено по заслугам за последовательность мыслей и выразительность, и все согласно утверждают, что некоторые его проповеди были бы верхом совершенства, будь в них только больше умиленности, больше, если можно так выразиться, благовоного и благословенного еля, потому что только он проникает в сердца людей.

Настоятель церкви святого Экзюпера первый заявил, что господин Лантень, произнося слово с амвона наиболее почитаемого храма епархии, рвением и усердием, самый избыток которых находит себе оправдание в их благом источнике, достойным образом послужил делу великого просветителя Галлии, заложившего первый камень этого храма. Он

сожалел лишь о том, что проповедник вторгся в область современной истории. Ибо надо признаться, что господин Лантень не боится ступать по еще не остывшему пеплу. Господин Лантень известен своим благочестием, ученостью и дарованием. Как жаль, что этот пастырь, достойный занять место на высших ступенях иерархической лестницы, почему-то считает нужным разглашать свою преданность к благодетельствовавшей его изгнанной династии — преданность, разумеется, по существу весьма похвальную, но неумеренную в своих проявлениях. Он часто показывает экземпляр «Подражания Христу» в малиновом с позолотой переплете, подаренный ему графиней Парижской, и очень охотно распространяется о своей верности и признательности. Какая жалость, что в своем высокомерии, может быть и простительном у столь одаренного человека, он забывается до такой степени, что во всеуслышание на городском валу говорит о его высокопреосвященстве кардинале-архиепископе в выражениях, которые я не решаюсь произнести! Увы! Если не я, то все деревья городского сада возопиют и повторят вам слова, слетевшие с уст господина Лантеня в присутствии господина Бержере, преподавателя филологического факультета: «Его высокопреосвященство соблюдает евангельскую нищету только в отношении собственного разума». Такие речи для него обычны. Известно, что во время последнего рукоположения, когда монсиньор появился в архиерейском облачении, которое он, несмотря на свой маленький рост, носит с таким достоинством, аббат Лантень сказал: «Посох-то золотой, да епископ — дубовый!» В таких неподобающих словах он выражал свое порицание торжественному великолепию, с которым монсиньор Шарло любит совершать богослужение и устраивать званые обеды,— взять хотя бы обед, данный командиру девятого корпуса, на который были приглашены и вы, господин префект. Доброе согласие между префектурой и архиепископством особенно раздражает аббата Лантеня, к сожалению слишком склонного, вопреки заветам святого Павла и поучениям его святейшества папы Льва XIII, раздуть огорчительные недоразумения, от которых одинаково страдают и церковь и государство.

Префект сидел с разинутым ртом, так как имел обыкновение слушать ртом. Он вскипел:

— Этот Лантень весь пропитан отвратительным духом клерикализма! Он мной недоволен? В чем он меня упрекает? Разве я недостаточно терпим, недостаточно либерален? Разве я не закрывал глаза, когда в монастыри и школы со всех сторон стекались монахи и монахини? Правда, мы решительно поддерживаем основные законы республики, но ведь мы их не

применяем. А духовенство неисправимо. Все вы на один лад: кричите, будто вас прижимают, а сами только и думаете, как бы прижать других. А что ваш Лантень обо мне говорит?

— Против вашего управления, господин префект, ничего нельзя сказать, но господин Лантень непримирим, он не прощает вам ни вашей принадлежности к франкмасонам, ни вашего иудейского происхождения.

Префект отряхнул пепел с сигары.

— Я вовсе не друг евреев. У меня нет связей в еврейском обществе. Но будьте спокойны, дорогой аббат, бьюсь об заклад, что господину Лантеню не видать туркуэнского епископства, как своих ушей. Я пользуюсь достаточным влиянием в министерстве и сумею его провалить... Выслушайте меня, Гитрель. Я вступил в жизнь без гроша в кармане; я постарался приобрести знакомства. Знакомства — это тот же капитал. Теперь у меня их много, и очень неплохих. Положитесь на меня, господин аббат,— Лантень сломает себе шею в министерстве. К тому же у моей жены свой кандидат на туркуэнское епископство. И этот кандидат — вы, Гитрель.

При этих словах аббат Гитрель опустил глаза и воздел руки.

— Как, чтобы я занял престол, освященный блаженным Лупом и многими другими благочестивыми просветителями Северной Галлии! Неужели госпоже Вормс-Клавлен могла прийти на ум такая мысль?

— Дорогой Гитрель, она хочет, чтобы вы надели митру. А она кого угодно сделает епископом, уверяю вас. Да я и сам был бы рад дать республике епископа-республиканца. Решено, дорогой Гитрель. Повидайте архиепископа и нунция; мы с женой берем на себя министерство.

Но г-н Гитрель шептал, умиленно сложив руки:

— Древний и высокочтимый туркуэнский престол!

— Третьеразрядная епархия, дыра, дорогой аббат, но с чего-нибудь надо начинать. Взять хотя бы меня: знаете, где я начал свою административную карьеру? В Сэрэ! Я начал с должности супрефекта в Сэрэ, в Восточных Пиренеях. Просто не верится!.. Но я теряю время на разговоры... Прощайте, монсеньор!

Префект протянул руку аббату, и г-н Гитрель пошел домой по кривой улице Тентельри, смиренно согнув спину, обдумывая всякие мудрые ходы и давая себе слово — с того дня, как он наденет митру, возьмет в руки посох и станет князем церкви, не отступать перед светской властью, ополчиться на франкмасонов и предать анафеме принципы свободомыслия, республики и революции.

Статья в «Либерале» возвестила городу ***, что объявилась пророчица. Это была девица Клод Денизо, дочь владельца рекомендательной конторы для прислуги. Самый внимательный наблюдатель не обнаружил бы ни малейшей ненормальности ни в рассудке, ни в здоровье девицы Денизо до тех пор, пока ей не минуло семнадцати лет. Это была коренастая, полная блондинка, не красивая и не уродливая, скорее приятная и с жизнерадостным характером. «Либерал» писал, что она получила хорошее домашнее воспитание и была благочестива, но в меру. На восемнадцатом году жизни, в шесть часов вечера 3 февраля 189* года, накрывая в столовой на стол, она вдруг услышала голос, — как ей показалось — голос матери: «Клодина, ступай к себе в спальню». Она пошла туда и увидела между кроватью и дверью яркий свет и услышала голос, вещавший из света. «Клодина, для нашей страны настал час покаяния, — сказал голос. — Лишь покаяние отвратит от нее большие бедствия. Я — святая Радегунда, королева Франции». И тут девица Денизо различила в этом свете лучезарный и как бы прозрачный лик в золотом венце с драгоценными камнями.

С тех пор св. Радегунда ежедневно являлась девице Денизо, открывала ей тайны и пророчествовала. Она предсказала заморозки, от которых погиб виноград в цвету, изрекла, что отец Рие, настоятель церкви св. Агнесы, не доживет до пасхи. Действительно, преподобный отец Рие скончался в чистый четверг. Она непрестанно возвещала близкие бедствия, угрожающие республике и Франции, пожары, наводнения, убийства. Но она обещала, что бог, устав карать нечестивый народ, ниспошлет ему, наконец, короля, а вместе с ним мир и благоденствие. Св. Радегунда узнавала и исцеляла болезни. Действуя под ее внушением, девица Денизо указала дорожному сторожу Жоблену мазь, излечившую его от ревматизма в колене. Жоблен снова начал работать.

Привлеченные такими чудесами, любопытные толпой валили в квартиру, занимаемую семейством Денизо на площади св. Экзюпера, над трамвайной конторой. Девушку посетили и духовные лица, и отставные чиновники, и врачи. Было замечено, что, когда она возвещала слова св. Радегунды, голос ее крепчал, лицо становилось суровым и все тело напрягалось. Указывали также и на то, что она употребляла выражения, необычные для молодой девицы, и что речи ее не находили естественного

объяснения.

Господин Вормс-Клавлен сначала не интересовался девицей Денизо и подсмеивался над ней, но вскоре его начал беспокоить небывалый успех провидицы, возвещавшей гибель республики и возврат Франции к христианской монархии.

Господин Вормс-Клавлен поступил на государственную службу в период скандалов в Елисейском дворце, при президенте Греви ^[25]. С тех пор он не раз был свидетелем дел о взяточничестве, которые, как их ни старались замять, всплывали все снова и снова, к великому ущербу для парламента и государственной власти. И это явление, бывшее, как ему казалось, в порядке вещей, взрастило в нем чувство глубокой терпимости, которое он распространял на всех своих подопечных. И сейчас один сенатор и двое депутатов от его департамента находились под угрозой судебного преследования. Самые влиятельные члены правящей партии, инженеры и финансисты, сидели в тюрьме или скрывались. При таких обстоятельствах он удовлетворялся верностью населения республиканскому строю и не требовал особого рвения и почтительности, ибо считал такие чувства устаревшими и ненужными символами минувших веков. События расширили его кругозор, от природы довольно узкий. Вопиющая ирония того, что происходило вокруг, проникла к нему в душу, он стал покладистым, веселым и легкомысленным. Кроме того, поняв, что избирательные комитеты представляют единственную реальную власть, сохранившуюся еще в департаменте, он подчинялся им с видимым усердием, но с внутренним протестом. Он выполнял их строгие распоряжения, однако сильно их смягчал. Словом, из умеренного он превратился в либерала и прогрессиста. Он не придирался к тому, что говорили и делали, но был достаточно рассудителен и недопустимых выходов не допускал. Как честный чиновник, он стоял на страже и следил, чтобы правительству не было нанесено какое-либо слишком явное оскорбление и чтобы министры могли безмятежно пожинать плоды общего равнодушия, которое охватило как их друзей, так и их врагов, и тем самым обеспечивало власть и покой.

Он был доволен, что и правительственные и оппозиционные органы, одинаково скомпрометированные в финансовых делах, уже не пользовались доверием, ни когда хвалили, ни когда ругали. Единственная газета, ничем себя не запятнавшая — социалистическая, — была и единственно смелой. Но у нее не было средств. Ее боялись и потому поддерживали правительство. И г-н Вормс-Клавлен, не кривя душой, доносил министру внутренних дел, что вверенный ему департамент в политическом

отношении вполне благонадежен. И вдруг ясновидящая с площади св. Экзюпера нарушила это благоденствие. Она предсказывала со слов св. Радегунды падение кабинета, роспуск парламента, отставку президента республики и гибель правительства, погрязшего в нечестии. Она была гораздо смелее «Либерала», и ее гораздо охотнее слушали. «Либерал» выходил небольшим тиражом, у девицы же Денизо перебивал весь город. Духовенство, крупная буржуазия, дворянство, клерикальная пресса прислушивались к ее речам и жадно ловили каждое ее слово. Св. Радегунда собрала рассеявшихся врагов республики и объединила «консерваторов». Объединение, по правде говоря, безобидное, но нежелательное. Г-н Вормс-Клавлен больше всего опасался, как бы не подняла шума какая-нибудь парижская газета. «Раздуют эту историю, получится скандал,— думал он,— и мне влетит от министра». Он решил каким-либо незаметным способом зажать рот девице Денизо и прежде всего навел справки насчет нравственности ее родителей.

Родня ее со стороны отца не пользовалась в городе особнным почетом. Денизо ничего собой не представляли. Отец девицы Денизо держал рекомендательную контору для прислуги, которая считалась не лучше и не хуже других таких же контор. И хозяева и прислуга жаловались, но прибегали к ее помощи. В 1871 году Денизо провозгласил на площади св. Экзюпера Коммуну. Позднее, когда изгоняли трех доминиканцев *тапу милитари* ^[11], он оказал сопротивление жандармам и был арестован. Потом на муниципальных выборах он выставил свою кандидатуру от партии социалистов, однако собрал незначительное число голосов. Он был горяч, но не умен. Его считали честным человеком.

Мать была урожденная Надаль. Семья Надаль, пользовавшаяся бóльшим уважением, чем семья Денизо, принадлежала к мелким землевладельцам и была на очень хорошем счету. Одна представительница семьи Надаль, тетка девицы Денизо, страдала галлюцинациями и несколько лет провела в больнице для умалишенных. Все Надали отличались набожностью и имели связи среди духовенства. Г-ну Вормс-Клавлену не удалось узнать ничего больше.

Как-то утром он завел разговор на эту тему со своим правителем канцелярии г-ном Лакарелем, который принадлежал к старинной местной фамилии и хорошо знал весь департамент.

— Дорогой Лакарель, надо покончить с этой помешанной. Ведь ясно же, что мадемуазель Денизо помешанная.

Лакарель ответил с важностью, даже с какой-то гордостью, которая была очень под стать его длинным белокурым усам.

— Господин префект, на этот счет мнения расходятся, и многие полагают, что мадемуазель Денизо вполне нормальна.

— Послушайте, Лакарель, ведь не думаете же вы, что святая Радегунда беседует с ней по утрам и поносит главу государства и все правительство.

Но Лакарель был того мнения, что это преувеличено и что недоброжелательно настроенные люди хотят извлечь выгоду из такого необычайного явления. И в самом деле необычайно было то, что девица Денизо прописывала безошибочно действующие средства против неизлечимых болезней: она исцелила дорожного сторожа Жоблена и бывшего судебного пристава по фамилии Фаврю. И это еще не все. Она предсказывала события, и все совершалось по ее слову.

— Я лично могу засвидетельствовать один факт, господин префект. На прошлой неделе мадемуазель Денизо сказала: «В Нуазеле, на поле Фефе зарыт клад». Стали рыть на указанном месте и попали на большую каменную плиту, закрывавшую вход в подземелье.

— Но, повторяю, нельзя же допустить, чтобы святая Радегунда...

Префект вдруг замолчал, стараясь что-то припомнить; он был совершенно незнаком с житиями святых христианской Галлии и с национальной стариной. Но в школе он проходил историю и теперь постарался восстановить в памяти прежние знания.

— Святая Радегунда — это мать Людовика Святого?

Господин Лакарель, лучше знакомый с преданиями, поразмыслил минутку.

— Нет,— сказал он,— мать Людовика Святого — Бианка Кастильская. Святая Радегунда — более древняя королева.

— Ну, так нельзя же допустить, чтобы она давала пищу для толков всему городу. Дорогой Лакарель, вы должны внушить ее отцу... я имею в виду Денизо, что ему надо задать хорошую порку дочери и посадить ее под замок.

Лакарель погладил свои галльские усы.

— Господин префект, советую вам, сходите взглянуть на мадемуазель Денизо. Это очень любопытно. Она примет вас особо, без посторонних.

— Что вы, Лакарель! Чтобы какая-то девчонка поносила при мне правительство!

Префект Вормс-Клавлен ни во что не верил. Религию он рассматривал с административной точки зрения. Родители, лишённые не только суеверий, но и коренной связи с какой бы то ни было страной, не оставили ему в наследство никакой веры, его беспочвенный ум не был вскормлен древними традициями, он был пуст, ничем не окрашен, ни к чему не

привязан. По неспособности к отвлеченному мышлению и по инстинктивной любви к действию и наживе он признавал только осязаемую истину и искренне считал себя позитивистом. В свое время он встречался за кружкой пива в монмартрских кабачках с химиками, занимавшимися политикой; с той поры он проникся почтительной верой в научные методы и теперь в свою очередь превозносил их в франкмасонских ложах. Ему нравилось придавать красивый вид своим политическим интригам и административным ухищрениям пышными ссылками на экспериментальную социологию. Науку он ценил тем больше, чем полезнее она ему была. «Я исповедую,— говорил он в простоте душевной,— абсолютную веру в факты, свойственную ученому и социологу». И именно потому, что он верил только фактам и считал себя поборником позитивизма, история с ясновидящей начинала его беспокоить.

Господин Лакарель сказал: «Эта молодая особа излечила дорожного сторожа и судебного пристава. Это факт. Она указала место, где зарыт клад, и в этом месте действительно обнаружили люк над входом в подземелье. Это факт. Она предсказала, что погибнет виноград. Это факт». У префекта было развито чувство смешного, инстинктивное чутье нелепостей, но слово *факт* имело над ним особую власть; он смутно припоминал, что врачи, хотя бы Шарко, наблюдали в больницах пациентов, одаренных необычайными способностями. Он вспомнил непонятные явления истерии и случаи ясновидения. И он задавал себе вопрос, не страдает ли девица Денизо довольно интересным случаем истерии, нельзя ли поручить ее заботам психиатров и таким образом избавить от нее город.

Он думал:

«Я мог бы собственной властью поместить эту девицу в психиатрическую лечебницу, как всякого, чье психическое состояние нарушает общественный порядок и опасно для окружающих; но противники существующего строя подымут вопль; вот так и слышу голос адвоката Лерона, обвиняющего меня в самоуправстве. Нет, если уж вправду клерикалы сплели интригу, нужно эту интригу распутать. Нельзя же допускать, чтобы святая Радегунда устами какой-то мадемуазель Денизо изо дня в день поносила республику. Прискорбные деяния имели место, не отрицаю. Необходимы частичные изменения хотя бы среди народных представителей, но существующий строй, слава богу, еще достаточно силен, и потому есть смысл его поддерживать».

Аббат Лантень, ректор духовной семинарии, и г-н Бержере, преподаватель филологического факультета, сидели в городском саду и по своему обыкновению беседовали. На все они держались противоположных взглядов; не было еще двух людей, более различных по складу своего ума и по характеру. Но во всем городе только они двое и интересовались общими вопросами. И этот интерес сближал их. Философствуя в ясную летнюю пору в тени деревьев, они отдыхали, один от тоски холостой жизни, другой — от семейных дразг, и оба вместе от служебных неприятностей и от одинаковой своей непопулярности.

Со скамьи, где они сидели, был виден памятник Жанне д'Арк ^[26], еще покрытый холстом. Как-то девственнице довелось заночевать в здешнем городе у одной почтенной дамы по прозванию Врунья, и вот в 189* году было решено в ознаменование этого события воздвигнуть памятник иждивением города и государства. Двое художников, местные уроженцы, один — скульптор, другой — архитектор, изваяли статую. На цоколе во весь рост стояла Дева, «облаченная в латы и задумчивая».

Открытие памятника было назначено на ближайший воскресный день. Ожидали министра народного просвещения. Рассчитывали на щедрую раздачу орденов Почетного легиона и академических знаков отличия. Жители ходили в городской сад поглазеть на холст, покрывавший бронзовую статую и каменный цоколь. На валу разбивали ярмарочные балаганы. К киоскам с прохладительными напитками, выросшим в тени аллеи, торговцы приколачивали коленкоровые вывески, гласившие: «Лучшее пиво „Жанна д'Арк“. — „Кафе Девственницы“».

При виде этого г-н Бержере сказал, что такое рвение горожан, желающих почтить освободительницу Орлеана, весьма похвально.

— Департаментский архивариус, господин Мазюр, — прибавил он, — особенно отличился. Он написал статью, доказывающую, что знаменитый исторический гобелен, изображающий свидание в Шиноне, выткан не в Германии около тысяча четыреста тридцатого года, как полагали, — но, приблизительно в те же годы, в одной из мастерских французской Фландрии. Выводы статьи он представил на суд господина префекта Вормс-Клавлена, который признал их весьма патриотическими и одобрил, выразив при этом надежду, что автор такого открытия будет почтен перед статуей Жанны д'Арк высшими знаками академического отличия. Уверяют

также, будто в речи на открытии памятника господин префект скажет, устремив взор к Вогезам, что Жанна д'Арк — дочь Эльзас-Лотарингии.

Аббат Лантень, не понимавший шуток, ничего не ответил, и серьезное выражение его лица не изменилось. В принципе он одобрял торжества в память Жанны д'Арк. Два года тому назад он сам произнес в церкви св. Экзюпера слово в честь Орлеанской девы и изобразил эту героиню как истинную француженку и истинную христианку. Он не видел повода к насмешке в торжествах во славу родины и веры. Как патриот и христианин, он сожалел только об одном — что первая роль принадлежит в них не епископу с духовенством.

— Французская нация непреходяща, и этим она обязана не королям, не президентам республики, не правителям провинций, не префектам, не королевским должностным лицам, не чиновникам нынешнего правительства, а епископской власти, которая существует непрерывно, неизменно и неослабно с первых просветителей Галлии и до сего дня и образует, так сказать, крепкую основу истории Франции. Епископская власть — по своей природе — духовная и постоянная. Власть королей — законная, но временная, немощная уже от рождения. Нация не кончает своего существования с падением этой власти. Нация — понятие духовное и всецело зиждется на нравственной и религиозной основе. И хотя духовенство и не будет присутствовать плотью на готовящихся здесь торжествах, оно будет присутствовать на них в духе и в истине. Иоанна д'Арк принадлежит нам, и напрасно неверующие пытаются отнять ее у нас.

Бержере. Но ведь так естественно, что все патриоты считают своей эту деревенскую девушку, ставшую символом патриотизма.

Лантень. Я вам уже сказал, что не понимаю родины без религии. Всякий долг исходит от бога, долг гражданина так же, как и все другие. Без бога рушится всякий долг. Если защищать от иноплеменных родную землю — наше право и наш долг, то не в силу мнимого, никогда не существовавшего людского права, но согласно воле господней. Подчинение воле господней ясно видно из истории Иаили и Юдифи. Оно еще разительней в книге Маккавеев. Его же можно обнаружить и в подвигах Орлеанской девы.

Бержере. Значит, господин аббат, вы верите, что Жанна д'Арк была послана самим богом? Но ведь это чревато всякими затруднениями. Я предложу вашему вниманию один факт, потому что он относится к тому, во что вы верите. Я имею в виду голоса и видения, которые чудились крестьянке из Домреми. Думаю, те, кто признает, будто святая Екатерина в обществе святого Михаила и святой Маргариты действительно являлась

дочери Жако д'Арк, будут очень смущены, когда им докажут, что святая Екатерина Александрийская вовсе не существовала и что ее жизнеописание попросту довольно неудачный греческий роман. Это было доказано уже в семнадцатом веке, и не тогдашними вольнодумцами, а весьма ученым доктором Сорбонны, Жаном де Лонуа, человеком добродетельной жизни и благочестивым. Рассудительный Тиллемон [\[27\]](#), во всем послушный церкви, отверг как нелепую сказку биографию святой Екатерины. Как тут не смутиться тем, кто верит, что голоса, слышанные Жанной д'Арк, шли с неба?

Лантень. Жития святых, как бы мы их ни чтили, все же не предмет веры; и можно, по примеру доктора де Лонуа и Тиллемона, усомниться в существовании святой Екатерины Александрийской. Я, лично не впадаю в такую крайность и считаю слишком смелым отрицать все начисто. Я допускаю, что жизнеописание этой святой пришло к нам с востока сильно приукрашенным легендарными подробностями; но я полагаю, что эти узоры были вышиты по достоверной канве. И Лонуа и Тиллемон могут ошибаться. Утверждать, что святая Екатерина никогда не существовала, нельзя, а если случайно этому и есть исторические доказательства, их опровергают доказательства теологические, основанные на чудесных явлениях этой святой, засвидетельствованных епископом и торжественно подтвержденных папой. Ибо совершенно логично, чтобы истины научные уступали высшей истине. Но мы еще не знаем мнения церкви о видениях, являвшихся Девственнице. Иоанна д'Арк не причтена к лику святых, и чудеса, совершенные ради нее или ею самой, еще подлежат обсуждению, — я не отрицаю и не признаю их, но своим чисто человеческим зрением я различаю в истории этой чудесной девушки десницу Божию, простертую на помощь Франции. Правда, зрение у меня сильное и острое.

Бержере. Если я вас правильно понял, господин аббат, вы не считаете достоверно доказанным чудом странное происшествие в Фьербуа, когда Жанна, как говорят, указала меч, укрытый в стене. И вы не уверены, что в Ланьи девственница воскресила, как она сама утверждала, младенца. Мой образ мыслей вам известен; я даю этим двум фактам естественное объяснение. Я допускаю, что меч был вделан в церковную стену в качестве *ex voto* [\[12\]](#), следовательно, виден. А по поводу младенца, воскрешенного девой, чтоб совершить над ним обряд крещения, и снова умершего, когда его вынули из купели, я просто напомню вам, что неподалеку от Домреми было изображение богородицы дез'Авио, специальностью которой было воскрешать мертворожденных младенцев. Я подозреваю, что здесь не

обошлось без самообмана и воспоминание о богومатери дез'Авио возбудило фантазию Жанны д'Арк, вообразившей, будто она воскресила в Ланьи новорожденного.

Лантьенъ. Ваши объяснения слишком неопределенны. И я предпочту не принять их и воздержаться от высказывания своего мнения, хотя, признаюсь, я склоняюсь к чуду, по крайней мере в случае с мечом святой Екатерины. Ибо в текстах совершенно точно сказано: меч был в стене, и, чтоб извлечь его, пришлось проломить стену. Возможно также, что господь бог внял угодным ему молитвам девы и вернул жизнь младенцу, умершему до крещения.

Бержере. Вы сказали, господин аббат, «угодным ему молитвам девы». Значит, вы допускаете согласно с средневековыми верованиями, что в девственности Жанны д'Арк была особая сила?

Лантьенъ. Девственность несомненно угодна господу, и Иисус Христос радуется торжеству девственниц. Дева отвратила от Лютеции Аттилу с его гуннами, дева освободила Орлеан и в Реймсе помазала на царство законного государя.

Услыхав слова аббата, г-н Бержере истолковал их по-своему.

— Вот это верно! — сказал он.— Девичье сокровище Жанны д'Арк — это национальная ценность Франции.

Но аббат Лантьенъ не расслышал. Он поднялся и сказал:

— Миссия Франции в христианском мире не завершена. Я предчувствую, что близко то время, когда господь призовет еще раз свой народ, который был и самым верным ему и самым неверным.

— Вот потому-то сейчас и появляются пророчицы, как в тяжелые времена короля Карла VII,— ответил г-н Бержере.— И в нашем городе тоже объявилась пророчица, но ей повезло больше, чем Жанне: ведь дочь Жако д'Арк ее же родители считали помешанной, а мадемуазель Денизо нашла верного последователя в собственном отце. Все же не думаю, чтобы счастье улыбалось ей долго. Нашему префекту, господину Вормс-Клавлену, не хватает известной деликатности в обращении, но он не так прост, как Бодрикур {28}; кроме того, теперь и не принято, чтобы глава государства давал аудиенцию одержимым. Духовник не посоветует господину Феликсу Фору {29} испытать мадемуазель Денизо. Впрочем, вы можете ответить, господин аббат, что дела Бернадетты Лурдской в наше время куда значительнее дел Жанны д'Арк. Та разбила несколько сотен англичан; Бернадетта же сняла с места и привела на гору в Пиренеях бесчисленные толпы паломников. А мой почтенный друг, господин Пьер Лафит {30}, еще

уверяет, будто мы вступили в эру позитивной философии!

— Я не хочу изображать вольнодумца, не хочу также впадать в легкоеверие,— сказал аббат Лантень,— и потому воздержусь от каких бы то ни было суждений по поводу Лурда, ибо этот вопрос не разрешен еще и церковью. Но уже сейчас я усматриваю в стечении паломников торжество религии, так же как и вы усматриваете в этом поражение материалистической философии.

Кабинет пал. Для г-на префекта Вормс-Клавлена это не было ни неожиданностью, ни огорчением. В глубине души он считал его слишком беспокойным и слишком беспокоящим, вполне резонно не внушающим доверия ни помещикам, ни крупным промышленникам, ни мелким вкладчикам. К огорчению г-на префекта, кабинет этот, не смущая блаженного равнодушия населения, оказывал пагубное влияние на франкмасонов, в руках которых за последние пятнадцать лет сосредоточилась вся политическая жизнь департамента. Префект Вормс-Клавлен сумел превратить масонские ложи в канцелярии, облеченные полномочиями предварительно выдвигать кандидатов на общественную службу, на выборные должности и на представление к наградам. Выполняя таким образом широкие и точные функции, ложи, как умеренно, так и радикально настроенные, объединялись, сливались в общем деле и работали в добром согласии во славу республики. Префект был счастлив, что честолюбие одних умеряется возделениями других, и набирал по общим указаниям лож весь персонал: сенаторов, депутатов, членов муниципального совета и дорожных смотрителей, одинаково преданных существующему строю и исповедующих в достаточной степени различные и в достаточной степени умеренные взгляды, чтобы всем прийти по вкусу и успокоить все республиканские группировки, за исключением социалистов. Г-н префект наладил такое доброе согласие. И вдруг радикальный кабинет нарушил эту счастливую идиллию.

К несчастью, представитель одного не имеющего особого значения министерства (не то земледелия, не то торговли), объезжая департамент, остановился на несколько часов в городе. Достаточно было ему произнести на одном собрании философскую и нравоучительную речь, чтобы всколыхнуть все собрание, перессорить ложи, разъединить братьев и восстановить гражданина Мандара, аптекаря с улицы Культуры, председателя ложи «Новый союз», радикала, против г-на Трикуля, турнельского винодела, председателя ложи «Святая дружба», умеренного.

В глубине души г-н Вормс-Клавлен упрекал павший кабинет еще и за другое: тот щедро оделял академическими знаками отличия и жаловал орденами за земледельческие заслуги только радикал-социалистов, отнимая таким образом у префекта удобную возможность управлять при помощи орденов и посулов, исполнения которых приходилось долго ждать. Именно

эту мысль выражал в горьких словах префект, сидя один у себя в кабинете:

«Эти господа полагали, что перевернуть вверх дном мои послушные логи и нацепить столь полезные ордена всем департаментским собакам на хвост называется делать политику, вот они и ошиблись!»

Итак, он не без удовольствия узнал о падении кабинета.

Впрочем, такие наперед предвиденные перемены никогда не заставляли его врасплох. Вся его административная политика строилась на том соображении, что министры сменяются. Он боялся переусердствовать и не служил с особым рвением министрам внутренних дел. Он поставил себе задачей не угождать ни одному из них и избегал всякого случая попасть в милость. Умеренность, которую он соблюдал за все время существования одного кабинета, обеспечивала ему расположение следующего, уже достаточно подготовленного в его пользу и довольствовавшегося его не слишком большим усердием, а это в свою очередь служило залогом расположения третьего кабинета. Г-н префект Вормс-Клавлен управлял без чрезмерного старания, не вступал в долгую переписку с площадью Бово, считался с канцеляриями министерства и пребывал на своем посту.

Сидя у себя в кабинете, в полуоткрытые окна которого доносился запах цветущей сирени и чирикание воробьев, он благодушно и спокойно размышлял о том, что постепенно забываются скандалы, уже дважды грозившие оставить его партию без главарей. В будущем, правда еще отдаленном, ему уже виделся день, когда снова можно будет делать дела. Он думал, что муниципальные выборы пройдут вполне удачно, несмотря на временные затруднения и несмотря на злосчастную искру раздора, раздутую в масонских ложах и в избирательных комитетах. Здесь, в земледельческом округе, мэры были превосходные. Население отличалось таким благодушием, что два депутата, скомпрометированные в разных финансовых аферах и со дня на день ожидавшие судебного преследования, все же не потеряли своего престижа в округе. Он думал, что голосование кандидатов по спискам не дало бы столь же благоприятных результатов. Он даже слегка расфилософствовался на ту тему, как нетрудно управлять людьми. Ему смутно мерещилось человеческое стадо, под бдительным оком овчарки, в неизменной тупой покорности терпеливо бредущее, куда ему укажут.

В кабинет вошел г-н Лакарель с газетой в руке.

— Господин префект, в «Правительственном вестнике» сообщается об отставке кабинета, принятой президентом республики.

Префект продолжал предаваться ленивым мечтаниям, а г-н Лакарель крутил свои длинные галльские усы и выкатывал голубые, как будто

фаянсовые, глаза; это означало, что он собирается высказать какую-то мысль. И он действительно высказал следующую мысль:

— Падение кабинета расценивается по-разному.

— В самом деле? — спросил префект, не слушая.

— Так как же, господин префект, теперь уже нельзя отрицать, что мадемуазель Клодина Денизо предсказала скорое падение кабинета.

Префект пожал плечами. Он рассуждал трезво и понимал, что в исполнении подобного предсказания нет ничего чудесного. Но Лакарель, осведомленный во всех местных делах, склонный к глупой болтливости и падкий на всякие несуразицы, сейчас же рассказал ему три или четыре новые басни, ходившие по городу, и между прочим случай с г-ном Громансом, которому св. Радегунда сказала, угадав его тайную мысль: «Не тревожьтесь, граф, ребенок, которого ваша супруга носит под сердцем, действительно ваш сын». Затем Лакарель снова заговорил о кладе. В указанном месте были найдены две римские монеты. Поиски продолжались. Были также и случаи исцеления, по поводу которых правитель канцелярии пустился в сбивчивые и пространные объяснения.

Префект тупо слушал его. Уже сама мысль о дочери Денизо огорчала и смущала его. Воздействие ясновидящей на местное население не укладывалось у него в голове. Он боялся, что не сможет разобраться в таком деле чисто психологического порядка. Эта боязнь смущала его рассудок, достаточно крепкий в делах житейских. Слушая Лакареля, он вдруг испугался, что тоже уверует, и невольно крикнул:

— Не верю, не верю таким вещам!

Но его одолевали сомнения и беспокойство. Ему захотелось узнать, что думает об ясновидящей аббат Гитрель, которого он считал человеком образованным и умным. Сейчас он как раз мог встретить аббата в ювелирной лавке. Он отправился к Рондоно-младшему, которого нашел в помещении за магазином, где тот забивал ящик, а аббат Гитрель разглядывал тем временем позолоченный сосуд на высокой ножке, с овальной крышкой.

— Что, господин аббат, красивая чаша?

— Это дароносица, господин префект, дароносица, сосуд, предназначенный *ad ferendos cibos* ^[13]. Так и есть, в дароносице находятся святые дары, наша духовная пища. Некогда дароносицу хранили в серебряном голубе, подвешенном над купелью, над аналоем или над ракой с мощами святых мучеников. Эта дароносица выполнена в стиле XIII века, стиле строгом и великолепном, очень подходящем для церковной утвари, особенно для священных сосудов.

Господин Вормс-Клавлен, не слушая аббата, рассматривал его хитрый настороженный профиль. «Вот кто расскажет мне о провидице и о святой Радегунде»,— думал он. И представитель республики в департаменте мысленно уже сопротивлялся, напрягая и ум и душу, боясь, как бы представитель духовенства не счел его человеком недалеким, суеверным и доверчивым.

— Да, господин префект,— продолжал свою речь аббат Гитрель,— это прекрасное произведение ювелирного мастерства изготовлено уважаемым господином Рондоно-младшим по старым рисункам. Я склонен думать, что лучше бы не сработали и в Париже на площади святого Сульпиция, где помещаются самые известные ювелирные магазины.

— Кстати, господин аббат, что вы скажете о ясновидящей, которая объявилась у нас в городе?

— О какой ясновидящей, господин префект? Вы имеете в виду ту несчастную девушку, которая утверждает, будто она общается с святой Радегундой, королевой Франции? Увы, господин префект, не может быть, чтобы благочестивая супруга Клотария внушала бедняжке все те жалкие, ни с чем не сообразные слова, которые не вяжутся ни со здравым смыслом, ни с богословием. Вздор, господин префект, сущий вздор!

Господин Вормс-Клавлен, державший наготове несколько остроумных выпадов против легковерия духовенства, остолбенел.

— Ну, кто же поверит,— продолжал с улыбкой г-н Гитрель,— что святая Радегунда внушает такую ерунду, такие глупости, все эти суетные, легковесные, порой даже еретические речи, которые мы слышим из уст девицы Денизо. Голос пресвятой Радегунды, поверьте мне, звучал бы иначе.

Префект. В общем, святая Радегунда, видимо, мало популярна?

Гитрель. Что вы, что вы, господин префект! К святой Радегунде, чтимой всем католическим миром, особенно привержены в епархии Пуатье, бывшей некогда свидетельницей ее добродетелей.

Префект. Да, господин аббат, именно так, особенно привержены...

Гитрель. Неверующие, и те преклонялись перед этой замечательной женщиной. Какое величественное зрелище, господин префект! Славная супруга Клотария, после того как ее родной брат был убит ее мужем, отправилась в Нуайон, к епископу Медару, и настойчиво просила постричь ее в монахини. Святой Медар удивлен, он колеблется, ссылается на нерасторжимость брака. Но Радегунда сама покрывает себе голову пеленой затворницы, преклоняет колени перед епископом, и тот, побежденный благочестивой настойчивостью королевы, не побоявшись ослушаться

грозного государя, посвящает господу богу эту благодную жертву.

Префект. Но, господин аббат, неужели вы оправдываете епископа, послушавшегося светской власти и поддержавшего непокорную супругу своего властелина? Чорт возьми! Если вы исповедуете такие взгляды, то я очень просил бы вас подтвердить мне это, за что был бы вам чрезвычайно признателен.

Гитрель. Увы! господин префект, я не озарен свыше, как блаженный Медар, и не сумел бы различить при таких исключительных обстоятельствах волю господню. К счастью, в наши дни совершенно точно установлены обязанности епископа по отношению к светской власти. И я льщу себя надеждой, что вы замолвите за меня словечко в министерстве вашим друзьям и при этом случае упомянете, что я соблюдаю все обязательства, вытекающие из конкордата. Но не будем отвлекаться из-за меня, смиренного, от великих исторических событий! Святая Радегунда приняла постриг и основала в Пуатье монастырь Честного креста, где и провела больше пятидесяти лет истинной затворницей. Она так строго соблюдала пост и воздержание...

Префект. Рассказывайте эти сказки своим семинаристам, господин аббат. Вы не верите, что святая Радегунда является ясновидице мадемуазель Денизо. Очень хорошо! Хотелось бы, чтоб все священники рассуждали столь же разумно. Но стоило этой истеричке — а она истеричка — начать поносить правительство, как все духовенство валом повалило к ней, слушают, разинув рот, и радуются всем мерзостям, которые она изрыгает.

Гитрель. О, духовенство осторожно, господин префект, очень осторожно. Церковь учит относиться с чрезвычайной осмотрительностью ко всему, что напоминает чудо. И уверяю вас, что я лично очень недоверчиво отношусь ко всяким новым чудесам.

Префект. Дорогой аббат, между нами: вы не верите в чудеса?

Гитрель. Действительно, я не склонен верить в чудеса, которые не установлены с полной достоверностью.

Префект. Мы одни. Признайтесь же, что чудес нет, никогда не было и не может быть.

Гитрель. Напротив, господин префект, чудеса вполне возможны, их следует признавать, они полезны для укрепления веры, и польза их доказана обращением язычников в христианство.

Префект. Словом, вы признаете, что смешно верить, будто святая Радегунда, жившая в средние века...

Гитрель. В шестом веке, в шестом веке.

Префект. Прекрасно, в шестом веке... приходит в тысяча восемьсот девяносто таком-то году почесать язык с дочерью владельца рекомендательной конторы по поводу политической линии кабинета и парламента...

Гитрель. Общение между церковью торжествующей и церковью воинствующей вполне возможно; история знает тому многочисленные и несомненные примеры. Но еще раз повторяю, я не верю, чтобы молодой особе, о которой идет разговор, была ниспослана благодать такого общения. На ее речах, если можно так выразиться, не лежит печать небесного откровения. Все, что она говорит, скорей похоже...

Префект. На вранье.

Гитрель. Пожалуй... А может быть, что она и одержима.

Префект. Помилуйте! Вы, умный священник, будущий республиканский епископ, и вдруг верите в одержимых! Да ведь это же средневековое суеверие. Я читал книгу Мишле ^{31} на эту тему.

Гитрель. Но одержимость, господин префект, явление, признанное не только богословами, но и учеными, в большинстве случаев неверующими. Да и Мишле, на которого вы только что ссылались, сам верил в Луденских одержимых.

Префект. Что за вздор! Все вы на один лад!.. Ну, а если Клодина Денизо одержимая, тогда что?

Гитрель. Тогда надо изгнать из нее беса.

Префект. Изгнать беса? А вам не кажется, господин аббат, что это было бы смешно?

Гитрель. Нисколько, господин префект, нисколько.

Префект. А как это делается?

Гитрель. Существуют правила, господин префект, определенный устав, обряды для такого рода действий, которые никогда не выходили из употребления. Из Жанны д'Арк и то изгоняли бесов,— если не ошибаюсь, в городе Вокулере. Этим делом надлежало бы заняться господину Лапрюну, настоятелю церкви святого Экзюпера,— ведь девица Денизо его прихожанка. Он весьма достойный пастырь. Правда, его личные отношения с семьей Денизо таковы, что могут оказать на него некоторое воздействие и в известной мере отразиться на его рассудительном и трезвом уме, не ослабленном годами и, повидимому, еще вполне справляющемся с бременем лет и тяготами долгого и ревностного служения. Я хочу сказать, что факты, кое-кем истолкованные как чудеса, имели место в приходе всеми уважаемого кюре Лапрюна; в своем усердии он мог впасть в заблуждение и счесть, что приход святого Экзюпера особенно взыскан

господом, потому что божья воля проявилась именно в этом, а не в каком-либо другом приходе нашего города. Лелея такие надежды, он, возможно, ввел в обман и самого себя и свой причт. Заблуждения эти и соблазны вполне извинительны, если принять во внимание все обстоятельства. И в самом деле, какую благодатью озарило бы это новоявленное чудо приходскую церковь святого Экзюпера! Прихожане стали бы усерднее к церкви, щедрые вклады потекли бы под древние своды славного, но ныне обедневшего храма. И милость кардинала-архиепископа скрасила бы последние дни господина Лапрюна на склоне его пастырского и жизненного пути.

Префект. Насколько я вас понимаю, господин аббат, выходит, что дельце-то с ясновидящей обстряпал тщедушный настоятель церкви святого Экзюпера со своим причтом. Положительно, духовенство сильно. В Париже в министерствах этому не верят, но это так! Духовенство сильно, ух, как сильно! Итак, ваш старикашка Лапрюн организовал сеансы церковного спиритизма, на которые стекается весь город, чтоб послушать, как бесчестят парламент, правительство, а заодно и меня,— я-то ведь отлично знаю, что мне тоже достается на тайных собраниях на площади святого Экзюпера.

Гитрель. Что вы, господин префект! Я далек от мысли заподозрить уважаемого настоятеля церкви святого Экзюпера в каких бы то ни было интригах! Напротив того, я искренне убежден, что если он в какой-то мере и покровительствовал этой неудачной затее, то скоро сам поймет свою оплошность и приложит все старания, дабы не допустить нежелательных последствий... Но можно бы, конечно, ради его собственной пользы и ради пользы епархии, предупредить события и представить его преосвященству в правильном свете факты, вероятно ему еще неизвестные. Узнав о таких непорядках, он их, несомненно, тут же пресечет.

Префект. Вот это мысль!.. Не возьмете ли вы на себя эту миссию, дорогой аббат? Мне как префекту не полагается знать о существовании архиепископа за исключением предусмотренных законом случаев, в связи с колокольным звоном или крестным ходом. Собственно говоря, положение дурацкое, раз уж архиепископы существуют... Но, что поделаешь, у политики есть свои требования. Ответьте мне откровенно: вы в милости у архиепископа?

Гитрель. Его высокопреосвященство изволит иногда благосклонно меня выслушивать. Снисходительность его высокопреосвященства поистине безгранична.

Префект. Ну, так скажите ему, что нельзя позволять святой Радегунде

восставать из мертвых и пакостить сенаторам, депутатам и префекту департамента и что пора в интересах и церкви и республики заткнуть глотку супруге грозного Клотария. Так и передайте его высокопреосвященству.

Гитрель. Передам, господин префект, передам в общих чертах.

Префект. Это как вам будет угодно, только убедите его, господин аббат, что надо запретить духовенству ходить к Денизо, надо публично отчитать аббата Лапрюна, опровергнуть в «Религиозной неделе» речи этой помешанной и неофициально предложить редакторам «Либерала» прекратить кампанию, которая ведется в пользу чуда, противного конституции и конкордату.

Гитрель. Приложу все старания, господин префект. Поверьте, приложу все старания. Но что значу я, смиренный преподаватель духовного красноречия, что значу я в глазах его высокопреосвященства кардинала-архиепископа?

Префект. Ваш архиепископ — человек умный, он поймет, чорт возьми, что его собственные интересы... и честь святой Радегунды...

Гитрель. Ну, конечно, господин префект, ну, конечно. Но, возможно, монсиньор, ревнуя о духовных интересах епархии, сочтет такое необычайное стечение христиан к этой простой девушке знамением, которое указывает на потребность в вере молодого поколения, свидетельством того, что вера в народе жива, как никогда, примером, над которым надлежит поразмыслить правителям государства. И, возможно, эти соображения удержат монсиньора, и он не станет спешить с прекращением такого знамения, с уничтожением такого свидетельства и такого примера. Возможно...

Префект. ...что он смеется надо всеми? Он на это способен.

Гитрель. О господин префект, для такого предположения нет никаких оснований! Но моя миссия была бы куда легче и куда вернее, если бы я, как голубь Ноева ковчега, принес оливковую ветвь, если бы я был уполномочен сказать,— не сказать, а только шепнуть! — монсиньору, что оклад, положенный семи бедным кюре нашей епархии и отмененный бывшим министром культов, восстановлен!

Префект. Понимаю, услуга за услугу! Подумаю... Протелеграфирую в Париж и дам вам ответ у Рондоно-младшего. Прощайте, господин дипломат!

Прошла неделя после этого тайного совещания, и аббат Гитрель благополучно выполнил свою миссию. Около ясновидящей с площади св. Экзюпера, не признанной архиепископом, покинутой духовенством и

отвергнутой «Либералом», остались только два члена-корреспондента Академии психологических наук, из которых один считал ее объектом, достойным изучения, а другой — ловкой симулянткой. Отделавшись от помешанной и будучи вполне удовлетворен муниципальными выборами, которые не выдвинули ни новых мыслей, ни новых людей, г-н префект Вормс-Клавен ликовал в глубине души.

XII

Господин Пайо держал книжную лавку на углу площади св. Экзюпера и улицы Тентельри. Площадь окружали по большей части старинные дома; на тех, что прилепились к церкви, вывески были резные и раскрашенные. У многих домов кровли были щипцом и фасады старинной кладки. Одним таким домом, на котором сохранились резные перекладки, знатоки восхищались как достопримечательностью. Выступающие вперед балки опирались на деревянные кронштейны, изображавшие либо ангелов с гербовыми щитами, либо низко пригнувшихся монахов. Налево от двери находился столб с попорченной временем фигурой женщины, в короне с крупными зубцами. Местные жители утверждали, будто это королева Маргарита. И дом был известен под названием «дома королевы Маргариты».

Считалось, со слов отца Мориса, автора «Сокровищницы древностей», напечатанной в 1703 году, что в этом доме провела несколько месяцев в 1438 году Маргарита Шотландская. Но г-н де Термондр, председатель Земледельческого и археологического общества, доказал в научно обоснованной статье, что дом этот был построен в 1488 году для знатного горожанина, по имени Филипп Трикульяр. Местные археологи водят к этому зданию людей, интересующихся стариной, и, улучив минутку, когда дамы чем-нибудь отвлекутся, обязательно показывают выразительный герб Филиппа Трикульяра, вырезанный на щите, который держат два ангела. Этот герб, вполне основательно сопоставленный г-ном де Термондром с гербом Колеони Бергамского [\[32\]](#), изображен на консоли над входной дверью под левой перекладной. Резьба стерлась, и разобрать, что там изображено, могут только посвященные. Фигуру женщины в короне, прислоненную к перпендикулярной балке, г-н де Термондр также без труда определил как святую Маргариту. Действительно, у ног святой еще видны остатки уродливого туловища, несомненно принадлежащего дьяволу, а в правой, ныне обломанной, руке статуи было, вероятно, кропило, которым святая обрызгала врага рода человеческого. С тех пор как г-н Мазюр, департаментский архивариус, опубликовал статью, устанавливающую, что в 1488 году Филипп Трикульяр, тогда уже семидесяти лет от роду, женился на Маргарите Лариве, дочери судьи по уголовным делам, стало понятно, почему здесь находится изображение святой Маргариты. По ошибке, впрочем вполне понятной, небесная покровительница Маргариты Лариве

была принята за молодую принцессу Шотландскую [\[33\]](#), пребывание которой в городе жило еще в местных преданиях. Немногие женщины оставили по себе такую грустную память, как эта дофина, умершая на двадцатом году со словами: «Плевать на жизнь!»

Дом книгопродавца г-на Пайо примыкает к дому «королевы Маргариты». Первоначально он был построен так же, как и соседний, с таким же фасадом, старинной стройки, из дерева и кирпича, с любопытной резьбой на выступающих балках. Но в 1860 году г-н Пайо-отец, епархиальный издатель и книгопродавец, сломал его и построил новый — в современном стиле, простой, без всяких претензий на роскошь или красоту, зато удобный и хорошо приспособленный под торговлю и под жилье. Родословное древо иисусово в стиле эпохи Возрождения, которое шло вдоль всего угла дома Пайо, от земли до крыши, в том месте, где улица Тентельри выходит на площадь св. Экзюпера, было снесено вместе со всем остальным, но не уничтожено. Г-н де Термондр отыскал его потом где-то на дровяном складе и приобрел для музея. Это был прекрасный художественный памятник старины. К сожалению, пророки и патриархи, зревшие на каждой ветке, словно чудесные плоды, и дева Мария, расцветшая на верхушке родословного древа, были изувечены террористами в 1793 году; в 1860 году древо снова пострадало при перевозке на дровяной склад, куда его взяли на дрова. В интересной брошюре, озаглавленной «Современные вандалы», г-н Катрбарб, епархиальный архитектор, ополчился на такое варварство. Он писал: «Содрогаешься при одной мысли, что драгоценному памятнику глубоко религиозного века грозит опасность, что его могут расколоть на дрова и спалить у нас на глазах».

Такая мысль, высказанная человеком, клерикальные симпатии которого были хорошо известны, вызвала резкую отповедь в «Маяке», в анонимной статье, автором которой — с основанием или без основания — признали департаментского архивариуса г-на Мазюра. «В двадцати строках,— говорилось в заметке,— господин епархиальный архитектор подает немало поводов к удивлению. Во-первых, как можно содрогаться при одной мысли, что будет уничтожена резная балка посредственной работы и так сильно попорченная, что деталей уже не разобрать; во-вторых, как может эта балка быть для г-на Катрбарба, просвещенный ум которого всем известен, памятником глубоко религиозного века, раз она относится к 1530 году, то есть к году, ознаменованному протестантским собором в Аугсбурге; в-третьих, почему г-н Катрбарб позабыл сказать, что драгоценная балка была снесена и отправлена на дровяной склад его же

собственным тестем, г-ном Николе, епархиальным архитектором, приведшим в 1860 году дом г-на Пайо в тот вид, в котором он сейчас находится; в-четвертых разве г-ну Катрбарбу не известно, что именно архивариус г-н Мазюр обнаружил эту резную балку на дровяном складе Клузо, где она гнила целых десять лет под самым носом у г-на Катрбарба, и указал на нее г-ну Термондру, председателю Земледельческого и археологического общества, который и приобрел ее для музея».

В своем теперешнем виде дом книгопродавца Пайо представлял собой трехэтажное здание с ровным белым фасадом. Над лавкой, которую украшала деревянная резьба, покрытая зеленой краской, значилось золотыми буквами: «Книжная лавка Пайо». На витрине были выставлены географические и астрономические глобусы различных размеров, готовальни, молитвенники, четки, учебники и краткие руководства для гарнизонных офицеров, а также и кое-какие новые романы и мемуары,— их г-н Пайо называл «литературой». На другой витрине, поуже и не такой глубокой, выходящей на улицу Тентельри, красовались сельскохозяйственные и юридические книги, завершавшие собой комплект всех предметов, необходимых для духовной жизни города. В самом магазине на прилавке лежали книги по художественной литературе, романы, критические работы, воспоминания. Полки были заставлены классиками, а в конце лавки, у двери на лестницу, было отведено место для антикварных книг. Ибо г-н Пайо держал у себя в лавке и новые и «случайные» книги. Темный угол с букинистическими книгами привлекал местных библиофилов, которым в свое время посчастливилось разыскать здесь редкостные издания. Рассказывали, что в 1871 году г-н де Термондр, отец нынешнего председателя Земледельческого общества, раскопал у Пайо, в букинистическом углу, хорошо сохранившийся экземпляр первого издания третьей книги «Пантагрюэля» ^[34]. С более таинственным видом поговаривали о книге Меллен де Сен-Желе, со стихотворным автографом Марии Стюарт на оборотной стороне титульного листа; книгу эту якобы нашел примерно в то же время и в том же месте нотариус г-н Дютийель, купивший ее за три франка. Но с тех пор ничего не было слышно о чудесных находках. В букинистическом углу, сумрачном и спокойном, все оставалось в неизменном виде. Все так же стояли пятьдесят шесть томов «Краткой истории путешествий», разрозненные тома Вольтера в издании Келя, большого формата. Многие сомневались в находке г-на Дютийеля, другие ее решительно отрицали. Они исходили из той мысли, что покойный нотариус мог и прихвастнуть, и из того факта, что после его смерти в его библиотеке не отыскалось никакого томика стихов Меллен де Сен-

Желе [\[35\]](#). Однако местные библиофилы, завсегда и лавки Пайо, не забывали хоть раз в месяц перерыть весь букинистический угол. Г-н де Термондр был особенно привержен к книжной лавке Пайо.

Он был здешним помещиком, имел большие родственные связи, занимался коневодством и слыл знатоком по части искусства. Он делал рисунки исторических костюмов для торжественных кавалькад, он председательствовал в комитете по открытию памятника Жанне д'Арк на городском валу. Четыре месяца в году он проводил в Париже. Его считали дамским угодником. Несмотря на свои пятьдесят лет он сохранил еще стройность и изящество. Он пользовался уважением во всех трех кругах местного общества, и уже не раз ему предлагалось баллотироваться в депутаты. Но он всякий раз отказывался, ссылаясь на то, что ему дороги покой и независимость. И все старались разгадать причину его отказа.

Господин де Термондр думал купить «дом королевы Маргариты», устроить там местный археологический музей и пожертвовать его городу. Но домовладелица, вдова Усье, не согласилась на сделанное предложение. Ей перевалило за восемьдесят, она одна занимала старинный дом, где жила в обществе десятка кошек. В городе ее считали богатой и скупой. Приходилось дожидаться ее смерти. Каждый раз, входя в лавку г-на Пайо, г-н де Термондр спрашивал хозяина:

— Ну, как, королева Маргарита еще не отправилась на тот свет?

И г-н Пайо отвечал, что в одно прекрасное утро ее несомненно найдут мертвой, поскольку она уже в таком преклонном возрасте и живет одна. А пока он дрожал, как бы она не подожгла дом. Он вечно мучился этим страхом. Он боялся, что старуха спалит свой деревянный дом, а заодно сгорит и его лавка.



Господин де Термондр очень интересовался вдовой Усье. Его занимало все, что говорила и делала королева Маргарита, как он прозвал старуху. Последний раз, как он был у нее, она показала ему плохую гравюру эпохи Реставрации, на которой была изображена герцогиня Ангулемская, прижимающая к сердцу медальон с портретами Людовика XVI и Марии Антуанетты. Эта гравюра в черной рамке висела в гостиной первого этажа. Вдова Усье тогда сказала:

— Это портрет королевы Маргариты, когда-то жившей тут в доме.

И г-н де Термондр задавал себе теперь вопрос, как мог портрет Марии-Терезы-Шарлотты, дочери французского короля, сойти за портрет Маргариты Шотландской даже в глазах самых невежественных людей. Он раздумывал над этим уже целый месяц.

Сегодня, входя в книжную лавку, он воскликнул:

— Догадался!

И объяснил своему приятелю книгопродавцу весьма правдоподобные причины такой странной ошибки.

— Поймите же, Пайо! Маргариту Шотландскую, подменившую Маргариту Лариве, спутали с Маргаритой Валуа, герцогиней Ангулемской, а ее в свою очередь спутали с герцогиней Ангулемской, дочерью Людовика Шестнадцатого и Марии Антуанетты. Маргарита Лариве — Маргарита Шотландская — Маргарита, герцогиня Ангулемская — герцогиня Ангулемская. Я горжусь своим открытием, Пайо; всегда следует обращаться к историческим преданиям. Но когда мы получим «дом

королевы Маргариты», мы понемногу восстановим память о славном Филиппе Трикульере.

Тут в лавку вошел доктор Форнероль с обычной своей стремительностью неутомимого утешителя страждущих, приносящего с собой надежду и силы. Гюстав Форнероль был дороден и усат. Он получил в приданое за женой небольшую усадьбу и теперь строил из себя помещика, ходил по больным в мягкой шляпе, в охотничьей куртке, в кожаных гетрах. Хотя все его пациенты принадлежали к мелкой буржуазии и к окрестному сельскому населению, он считался в городе лучшим врачом-практиком.

Он был в хороших отношениях с Пайо, как, впрочем, и со всеми своими согражданами, но зря к нему не ходил и в лавке не засиживался. Однако на этот раз он плотно уселся на один из трех соломенных стульев, стоявших в букинистическом углу и создавших книжной лавке Пайо славу гостеприимного, изящного и ученого литературного салона.

Он отдышался, помахал ручкой Пайо, поклонился более почтительно г-ну де Термондру и сказал:

— Выдохся!.. Ну, как, Пайо, довольны вы вчерашним спектаклем? Как понравились вашей супруге актеры и пьеса?

Книгопродавец промолчал. Он полагал, что в собственной лавке коммерсанту благоразумнее не высказывать своих мнений. В театре он бывал редко и всегда с женой. Доктор же Форнероль, служивший театральным врачом и получавший даровые билеты, не пропускал ни одного спектакля.

Вчера гастролирующая труппа играла «Супругу маршала», и Полина Жири исполняла главную роль.

— Полина Жири все еще превосходна,— сказал доктор.

— Это общее мнение,— согласился книгопродавец.

— Она уже не первой молодости,— произнес г-н де Термондр, перелистывая XXXVIII том «Всеобщей истории путешествий».

— Какое там! — отозвался доктор.— Знаете, ведь она совсем не Жири?

— На самом деле ее фамилия Жиру,— авторитетным тоном подтвердил г-н де Термондр.— Я знал ее мать Клеманс Жиру. Лет пятнадцать тому назад Полина Жиру была очень хорошенькой брюнеткой.

И все трое, сидя в букинистическом углу, принялись высчитывать, сколько может быть лет этой актрисе. Но они пользовались неточными или неверными данными и потому приходили к разноречивым, а порой совершенно нелепым выводам, которыми не могли удовлетвориться.

— Выдохся! — сказал доктор.— Вы-то после театра легли спать. А меня среди ночи вызвали к старому виноделу с холма Дюрок, у которого сделалось ущемление грыжи. Работник сказал: «Его рвет всякой дрянью. Криком кричит. Не выкрутится». Я велел заложить экипаж и покатил к холму Дюрок, на самый край слободы Трамай. Больной лежит в постели и воет. Лицо как у покойника, рвота калом. Так! Жена говорит: «У него все нутро изныло».

— Полине Жири сорок семь лет,— перебил г-н де Термондр.

— Вполне возможно,— сказал Пайо.

— Самое меньшее сорок семь,— подхватил доктор.— Грыжа была двухсторонняя и ущемленная. Так! Начинаю вправлять надавливанием. Нажимаешь только слегка, но все же поупражняешься так с полчаса, и у тебя и руки и спина — как изломанные. А возился я добрых пять часов, десять раз принимался, пока вправил.

Когда доктор Форнероль дошел до этого места повествования, книгопродавец Пайо отлучился в лавку к покупательницам, которые спрашивали занимательные книги для чтения на даче. И доктор продолжал свой рассказ, обращаясь теперь к одному г-ну де Термондру:

— Меня точно избили. Говорю пациенту: «Надо лежать по возможности на спине, пока бандажист не сделает вам бандаж по моим указаниям. Лежите на спине, а то опять будет ущемление! Сами знаете, как это весело! Уже не говоря о том, что в один прекрасный день совсем окачуритесь. Поняли?» — «Да, господин доктор». — «Вот и отлично!»

Ну, пошел я во двор помыться под краном. Понимаете, после таких упражнений требуется привести себя в порядок! Разделся до пояса, с четверть часа терся простым мылом. Оделся. Выпил стаканчик белого вина, который мне вынесли в палисадник. Рассвет чуть брезжит, жаворонок поет, ну, пошел я опять в дом к больному. Там еще совсем темно. Кричу в тот угол, где стоит кровать: «Вы меня поняли? Не подыматься, пока не получите новый бандаж. Старый ни к чорту не годится. Слышите?» Ответа нет. «Вы спите?» Тут слышу у себя за спиной голос старухи: «Господин доктор, его дома нет. Терпения не было лежать, пошел на виноградник».

— Узнаю крестьян,— сказал г-н де Термондр.

Он призадумался и добавил:

— Доктор, Полине Жири сейчас сорок девять. Она дебютировала в тысяча восемьсот семьдесят шестом году в театре Водевиль; тогда ей было двадцать два. Я точно знаю.

— В таком случае,— сказал доктор,— ей теперь сорок три, поскольку сейчас тысяча восемьсот девяносто седьмой год.

— Не может быть,— возразил г-н де Термондр,— во всяком случае она на шесть лет старше Розы Макс, а той сейчас за сорок.

— Старше Розы Макс? Не отрицаю, но она все еще очень хороша,— отозвался доктор.

Он зевнул, потянулся и сказал:

— Возвратившись с холма Дюрок в шесть часов утра, я застал у себя в передней двух учеников из булочной с улицы Тентельри, которых прислали за мной, так как булочница собралась родить.

— Неужели же недостаточно было прислать одного?

— Их послали одного вслед за другим,— ответил доктор.— Спрашиваю, были ли уже характерные симптомы. Молчат, но тут прикатил на хозяйской таратайке третий посланец. Сажусь с ним рядом. Поворачиваем, и через минуту трясемся по мостовой улицы Тентельри.

— Вспомнил! — воскликнул г-н де Термондр, думавший о своем.— Она дебютировала в Водевиле в шестьдесят девятом году. А в семьдесят шестом с ней познакомился мой кузен Куртре и... стал бывать у нее.

— Вы имеете в виду Жака Куртре, драгунского капитана?

— Нет, я имею в виду Аженора, скончавшегося в Бразилии... У нее есть сын, в прошлом году его выпустили из Сен-Сирской военной школы.

При этих словах г-на де Термондра в лавку вошел г-н Бержере, преподаватель филологического факультета.

За г-ном Бержере признавалось неотъемлемое право на одно из академических кресел фирмы Пайо, так как он был самым усердным участником бесед в букинистическом углу. Любящей рукой перелистывал он старые и новые книги, и хотя сам никогда ничего не покупал, боясь, что ему достанется от жены, все же встречал радушный прием у г-на Пайо, который его уважал, ибо видел в г-не Бержере кладезь премудрости и горнило той науки и той изящной словесности, которыми живут и кормятся книгопродавцы. Букинистический угол был единственным местом в городе, где г-н Бержере мог спокойно сидеть в полное свое удовольствие, потому что дома жена то и дело гоняла его из комнаты в комнату под разными хозяйственными предложениями; на факультете невзлюбивший его декан спровадил его вести семинар в темный и сырой подвал, куда неохотно шли слушатели, а во всех трех кругах городского общества на него дулись за его каламбур о Жанне д'Арк.

Итак, г-н Бержере прошел в букинистический угол.

— Здравствуйте, господа! Что нового?

— Ребеночек у булочницы с улицы Тентельри,— сказал доктор.— Двадцать минут тому назад я извлек его на свет божий. Я как раз собирался

рассказать об этом господину де Термондру. И должен признаться, я намучился.

— Ребенок, видимо, раздумывал, стоит ли родиться,— заметил г-н Бержере.— Будь у него ум и дар предвидения и знай он наперед, что ожидает человека на земле, а особенно в нашем городе, он бы ни за что не согласился.

— Родилась прехорошенькая девочка,— сказал доктор,— прехорошенькая девочка с родимым пятном, похожим на малину, под левым соском.

Между доктором и г-ном де Термондром завязался разговор.

— Вы сказали, доктор, прехорошенькая девочка с родимым пятном, похожим на малину, под левым соском? Будут говорить, что булочницу потянуло на малину, когда она снимала сорочку. Ведь недостаточно матери захотеть чего-нибудь для того, чтобы получилось соответствующее родимое пятно на плоде, который она носит под сердцем. Надо еще, чтоб она дотронулась до своего тела. И тогда ребенок будет отмечен родимым пятном на том же месте. Ведь так, кажется, верят в народе, доктор?

— Верят глупые бабы,— ответил доктор Форнероль.— Хотя я знал мужчин и даже врачей, которые в данном отношении были не лучше баб и разделяли суеверия кормилиц. Мне же мой многолетний опыт, знакомство с опубликованными наблюдениями ученых, а главное общий взгляд на эмбриологию не позволяют присоединиться к этому народному поверью.

— Значит, доктор, по вашему мнению, родимые пятна ничем не отличаются от других пятен, которые появляются на коже по неизвестным причинам?

— Позвольте! Родимые пятна — особый случай. В них нет кровеносных сосудов. Они не растягиваются, как наросты, с которыми их иногда путают.

— Вы утверждаете, что они особого свойства. Делаете ли вы из этого какие-либо выводы относительно их происхождения?

— Абсолютно никаких.

— Но если эти пятна не вызваны реальными желаниями, если вы им отказываете в... как бы лучше выразиться?.. в психологическом основании, то как понять, почему так повезло поверью, о котором упоминается в библии и которое до сих пор еще разделяют очень многие. Моя тетка Пастре была очень умной и несуетливой женщиной. Умерла она прошлой весной на семьдесят восьмом году жизни — и до конца дней своих считала, что три белые смородинки на плече ее дочери Берты были августейшего происхождения и зародились в парке Нейи, где она гуляла во время

беременности осенью тысяча восемьсот тридцать четвертого года и где была представлена королеве Марии-Амалии ^{36}, которая прошла с ней по дорожке, обсаженной кустами смородины.

Доктор Форнероль ничего не ответил. Он не был расположен особенно противоречить богатым пациентам. Но г-н Бержере, преподаватель филологического факультета, склонил голову на левое плечо и устремил взор вдаль, как обычно делал, когда собирался говорить. Затем сказал:

— Господа, известно, что пятна, называемые родимыми, сводятся к нескольким типам, по цвету и форме напоминающим клубнику, смородину, малину, винные или кофейные пятна. Может быть, сюда же следует отнести расплывчатые желтые пятна, в которых пытаются усмотреть сходство с куском пирога или телячьим паштетом. Ну, как можно поверить, будто беременных женщин только и тянет что на вино да на кофе с молоком или на красные ягоды, ну, скажем, еще на телятину? Такая мысль не вяжется с философией природы. Желание, которое, по мнению некоторых философов, создало мир и на котором этот мир зиждется, проявляется в беременных женщинах так же, как и во всех живых существах, только в них оно сильнее и разнообразнее, оно возбуждает в них тайный жар, скрытое исступление, непонятное волнение. Не вдаваясь в разбор того, как действует их особое положение на вождедения, свойственные животному и даже растительному миру, мы признаем, что это положение отнюдь не вызывает безразличия, оно скорей извращает и раздражает глубоко скрытые инстинкты. Если бы на тельце новорожденного действительно запечатлевались материнские желания, то можно не сомневаться, что у него на коже появились бы не только безобидные ягоды или капельки кофе, о которых так любят толковать словоохотливые кумушки.

— Согласен с вами,— сказал г-н де Термондр,— женщины равнодушны к драгоценностям, и многие дети рождались бы с сапфирами, рубинами и изумрудами на пальцах и с золотыми браслетами на руках; жемчужные ожерелья, бриллиантовые кольца покрывали бы им шею и грудь. Это еще куда ни шло, таких детей не надо было бы прятать.

— Вот именно,— подтвердил г-н Бержере.

И взяв со стола XXXVIII том «Всеобщей истории путешествий», оставленный г-ном де Термондром, преподаватель филологического факультета уткнул нос в книгу, открывшуюся на 212-й и 213-й страницах, на которых вот уже шесть лет с какой-то роковой неизбежностью неизменно открывался этот том, словно подчеркивая монотонность жизни, словно символизируя однообразие университетских работ и захолустных будней, за которыми следуют смерть и тление в гробу. И на этот раз г-н

Бержере прочитал, как уже читал много раз, первые строчки 212-й страницы XXXVIII тома «Всеобщей истории путешествий»: «...искать проход на север. „Именно этой неудаче,— сказал он,— мы обязаны тем, что имели возможность вновь посетить Сандвичевы острова и обогатить наше путешествие открытием, которое, хотя оно и было последним по времени, повидимому, во многих отношениях окажется наиболее значительным из открытий, до сих пор сделанных европейцами на всем протяжении Тихого океана“. Счастливым предположениям, о которых, казалось, возвещали эти слова, к сожалению, не суждено было свершиться...»

И опять, как и всегда, чтение этих строк нагнало на него тоску. Покуда он предавался ей, книгопродавец Пайо пренебрежительно и свысока разговаривал с молодым солдатом, зашедшим купить на одно су почтовой бумаги.

— Почтовой бумагой на листы не торгуем,— отрезал г-н Пайо и повернулся спиной к солдату.

Затем он стал жаловаться на Леона, своего приказчика,— никогда-то его нет на месте, как пошлешь куда, так и пропал. И приходится самому отрываться по пустякам. Вот и сейчас — не угодно ли — дай почтовой бумаги на одно су!

— Я вспоминаю,— сказал доктор Форнероль,— что как-то в базарный день к вам зашла крестьянка за пластырем и вы едва уговорили ее не задирать подол и не показывать вам больное место, куда надо было налепить пластырь.

Книгопродавец Пайо ответил на этот анекдотический рассказ молчанием, означавшим оскорбленное достоинство.

— Бог мой! — воскликнул великий книголюб г-н де Термондр.— Спутать высоконаучную лавку нашего Фробейна [\[37\]](#), нашего Эльзевира, нашего Дебюра [\[38\]](#) с жалкой медицинской кухней Фомы Диафуария [\[39\]](#) — какое оскорбление!

— Женщина, конечно, не видела ничего плохого в том, что показывала Пайо, где у нее болит,— сказал доктор Форнероль.— Но судить по ней о крестьянках вообще нельзя. Обычно они чрезвычайно неохотно показываются врачу. Мои сельские коллеги не раз на это жаловались. Seriously больные крестьянки упираются и не дают себя осмотреть, чего при тех же обстоятельствах не делают горожанки, и уж, конечно, не делают светские дамы. Я сам знаю случай с фермершей из Лусиньи, умершей от опухоли на внутренних органах, которую она так и не дала исследовать.

Господин де Термондр, будучи представителем нескольких местных

ученых обществ, отличался предвзятыми мнениями ученых и прицепился к этим замечаниям: он стал обвинять Золя в позорной клевете на крестьян в его книге «Земля». Такое обвинение вывело г-на Бержере из его меланхолической задумчивости, и он сказал:

— Смотрите, как бы крестьяне действительно не оказались кровосмесителями, пьяницами и отцеубийцами, какими их изобразил Золя. Нелюбовь к медицинскому осмотру нисколько не доказывает целомудрия. Она доказывает только, как сильны предрассудки у людей ограниченных. Чем они примитивнее, тем сильнее в них предрассудки. Предрассудок, по которому считается, что показаться в голом виде стыдно, силен в крестьянской среде. У людей интеллигентных и с художественно развитым вкусом он ослаблен привычкой к ваннам, душам и массажу, а также эстетическим чувством и склонностью к чувственным ощущениям и потому легко уступает соображениям гигиены и здоровья. Вот все, что можно вывести из слов доктора.

— Я заметил,— сказал г-н де Термондр,— что хорошо сложенные женщины...

— Таких нет,— возразил доктор.

— Доктор, вы напоминаете мне моего мозольного оператора,— продолжал г-н де Термондр.— Он мне как-то сказал: «Если бы вы, сударь, были мозольным оператором, то не сходили бы с ума по женщинам».

Книгопродавец Пайо, который уже несколько мгновений прислушивался, стоя у стены, сказал:

— Не понимаю, что творится в «доме королевы Маргариты» — какие-то крики, двигают мебель...

И в нем пробудились привычные опасения:

— Старуха, чего доброго, подожжет дом, и весь квартал выгорит: тут все дома деревянные.

Никто не отозвался, никто не постарался успокоить его нудные жалобы. Доктор Форнероль тяжело поднялся, с усилием расправил затекшие мускулы и пошел по визитам.

Господин де Термондр натянул перчатки и направился к дверям. Потом, заметив длинного сухощавого старика, переходившего площадь четким, твердым шагом, сказал:

— Вон идет генерал Картье де Шальмо. Не посоветовал бы я префекту попадаться ему на глаза.

— А почему? — спросил г-н Бержере.

— Потому что эти встречи не очень приятны для господина Вормс-Клавлена. Пршшлое воскресенье префект, ехавший в коляске, повстречал

генерала Картье де Шальмо, который шел пешком с женой и дочерьми. Откинувшись на спинку сиденья, не снимая шляпы, он помахал рукой генералу, крикнув: «Здрасьте, здрастьте, генерал!» Генерал покраснел от гнева. У людей застенчивых гнев бывает ужасен. Генерал Шальмо не помнил себя. Он был страшен. На глазах всего города он передразнил фамильярный жест префекта и крикнул громовым голосом: «Здрасьте, здрастьте, префект!»

— Ничего больше не слышать в «доме королевы Маргариты»,— сказал г-н Пайо.

XIII

Полуденное солнце метало свои жгучие белые стрелы. В небе — ни облачка, в воздухе — ни дуновения. Вся земля была погружена в глубокий покой; только солнце в небе свершало свой пламенный путь. Короткие тени тяжело и недвижно лежали у вязов в безлюдном городском саду. На дне канавы, идущей вдоль вала, спал сторож. Птицы умолкли.

Сидя под тенистыми древними деревьями на кончике скамьи, на три четверти залитой солнцем, г-н Бержере забывал в любезном его сердцу уединении о жене, о двух дочках, о скромной жизни в скромной квартирке и, подобно Эзопу, наслаждался свободным полетом фантазии, дав волю своей критической мысли, которая касалась то живых, то умерших.

Тем временем по широкой аллее проходил аббат Лантень, ректор духовной семинарии, с тробником подмышкой. Г-н Бержере поднялся и предложил аббату место в тени на скамье. Г-н Лантень сел не спеша, с подобающим его сану достоинством, которое никогда его не покидало и было для него вполне естественным. Г-н Бержере сел рядом, там, где тень перемежалась со светом, пробивающимся сквозь более редкую листву на концах веток. Теперь его черный сюртук покрылся золотыми кружочками, и г-н Бержере зажмурился, так как свет слепил его.

Он приветствовал аббата Лантеня в следующих выражениях:

— Господин аббат, повсюду говорят о том, что вас назначат епископом туркуэнским. «Я этой вести рад и жду ее свершенья». Но выбор был бы слишком хорош, а потому я в нем сомневаюсь. Вас считают монархистом, и это вам вредит. Разве вы не республиканец, как и сам папа?

Лантень. Я республиканец, как и сам папа. Это значит, что я соблюдаю мир и не вступаю в войну с республиканским правительством. Но мир — еще не любовь. Я не люблю республики.

Бержере. Догадываюсь о причинах. Вы ставите ей в упрек неприязнь к духовенству и свободомыслие.

Лантень. Разумеется, я ставлю ей в упрек безбожие и враждебное отношение к духовенству. Но и безбожие и враждебность не обязательно ей присущи. Они — от республиканцев, а не от республики. Они ослабевают и усиливаются в зависимости от перемены лиц. Сегодня они слабее, чем были вчера. Завтра, может быть, возрастут. Возможно, наступит день, когда их не будет вовсе, как не было их в правление маршала Мак-Магона ^{40} или по крайней мере при первых притворных шагах этого президента и при

обманувшем нас правительстве шестнадцатого мая ^{41}. Они от людей, а не от порядка вещей. Но даже если бы республика и чтит религию и духовенство, я все же ненавижу бы ее.

Бержере. За что?

Лантень. За многоликость. Это — ее исконный порок.

Бержере. Я не совсем вас понимаю, господин аббат.

Лантень. Все оттого, что у вас не богословский ум. В прежние времена богословие накладывало свой отпечаток даже на мирян. В тетрадах, сохранявшихся у них со школьных лет, они черпали основные понятия философии. Особенно справедливо это по отношению к людям семнадцатого века. Тогда всякий образованный человек, даже поэт, умел философски мыслить. «Федра» Расина опиралась на учение Пор-Рояля. Теперь же, когда богословие загнано в семинарии, никто уже не умеет рассуждать философски, и светские люди теперь почти так же глупы, как поэты и ученые. Ведь говорил же мне вчера господин де Термондр, в полном убеждении, что говорит умные вещи, будто церковь и государство должны сделать взаимные уступки. Люди теперь ничего не знают, ни о чем не думают. Пустые слова зря колеблют воздух. Мы живем в Вавилоне. Вот и вы, господин Бержере, гораздо больше занимались Вольтером, чем святым Фомой ^{42}.

Бержере. Это правда. Но вы как будто говорили, что республика многолика и что в этом ее исконный порок? Очень прошу вас пояснить вашу мысль. Может быть, я и пойму. В богословии я смыслю больше, чем вы полагаете. Я читал Барония с пером в руке.

Лантень. Бароний только летописец, правда величайший; я уверен, что вы сумели вычитать у него лишь исторические анекдоты. Будь вы хоть в какой-то мере богословом, вас несколько не удивили бы и не смутили мои слова.

Многоликость отвратительна. Зло всегда многолико. Это же свойство присуще и республиканскому образу правления, более далекому от единства, чем всякий другой. А где нет единства, там нет и независимости, постоянства и силы, нет и понимания окружающего. Об этом правительстве можно сказать, что оно само не ведает, что творит. Хотя оно и существует нам в наказание, долго оно не просуществует. Ибо понятие долговечности включает в себя понятие тождества, а республика, что ни день, меняется. Даже ее мерзость и пороки не принадлежат ей. Вы сами видели, что они ее не позорят. Срам и позор, которые свергли бы самую могучую империю в мире, покрывают ее, а она не потерпела от этого

никакого ущерба. Она нерушима, ибо она сама — разрушение. Она — разъединенность, она — непостоянство, она — многоликость, она — зло.

Бержсере. Вы говорите о республике вообще или только о нашей?

Лантень. Разумеется, я не имею в виду ни Римской, ни Батавской, ни Гельветической республики ^[43], а только Французскую республику. Ибо у всех этих государств нет ничего общего, кроме названия, и не подумайте, пожалуйста, что я сужу о них по тому слову, которым их обозначают, или по тому, что они как будто все одинаково враждебны монархии, что само по себе еще, пожалуй, не предосудительно; но во Франции республика не что иное, как отсутствие монарха и недостаток сильной власти. Народ же был дряхл уже в то время, когда произвели ампутацию, и теперь приходится опасаться за его жизнь.

Бержсере. Как-никак Франция уже на двадцать семь лет пережила империю, на сорок восемь — буржуазную монархию и на шестьдесят шесть — легитимную монархию.

Лантень. Скажите лучше, что Франция, раненная насмерть, вот уже целое столетие влачит остаток своих жалких дней, попеременно впадая то в неистовство, то в уныние. И не подумайте, что я пристрастен к прошлому или грущу по обманчивым видениям никогда не существовавшего золотого века. Жизнь народов мне известна. Опасности угрожают им ежечасно, бедствия — ежедневно. Это справедливо, и так оно и должно быть. Жизнь народов, так же как и жизнь отдельных людей, не имела бы смысла, если бы они не знали испытаний. Древняя история Франции полна преступлений и расплат. Господь в неусыпной своей любви не уставал карать наш народ и в своей благости взыскал его страданиями во времена королей. Но Франция тогда была страной христианской, и страдания эти были ей полезны и дороги. Она видела в них карающую десницу божью. Она черпала в них назидание, доблесть, спасение, силу и славу. Теперь ее страдания бессмысленны; она не понимает и не приемлет их. Даже перенося страдания, она их отвергает. И она, безумная, еще хочет быть счастливой! С утратой веры в бога утрачивается, вместе с идеей абсолютного, и понимание относительного, и даже чувство истории. Только господь устанавливает логическую связь земных событий, без него их последовательность была бы и неуловима и непонятна. И вот уже сто лет история Франции — загадка для французов. Однако и на нашей памяти был торжественный час ожидания и надежды.

Всадник, который появляется в положенный богом срок и имя которому то Сальманасар, то Навуходоносор, то Кир, то Камбиз, то

Меммий, то Тит, то Аларих, то Атилла, то Магомет II, то Вильгельм [{44}](#), огнем прошел по Франции. Униженная, израненная, истекая кровью, возвела она очи горе. Да зачтется ей эта минута! Казалось, теперь она поняла, обрела вместе с верой и разум, познала цену и смысл великих, ниспосланных ей богом страданий. Она воздвигла людей праведных, верующих христиан, образовавших верховное собрание. И что же мы видим? Это собрание восстановило торжественный обычай посвящения Франции сердцу иисусову. Что же мы видим? Как и во времена Людовика Святого, на горах перед взорами кающихся городов вырастали храмы; лучшие граждане подготавливали восстановление монархии.

Бержере (тихо). Первое — Национальное собрание в Бордо [{45}](#). Второе — церковь Сердца иисусова [{46}](#) на Монмартре и церковь Фурвьерской богоматери в Лионе. Третье — комитет девяти и миссия господина Шенлона [{47}](#).

Лантень. Что вы сказали?

Бержере. Ничего. Пробую продолжать «Рассуждения о всемирной истории».

Лантень. Не смейтесь и не отрицайте. Уже прислушивались на дорогах к топоту белых коней, везущих во Францию короля. Генриху Богоданному предстояло восстановить принцип власти, обуславливающий две силы, на которых зиждется общество: приказание и послушание; ему предстояло восстановить человеческий порядок одновременно с порядком божеским, политическую мудрость одновременно с религиозным духом, иерархию, законность, устав, истинную свободу, единство. Народ, вернувшись к своим традициям, снова обрел бы вместе с сознанием своей миссии и тайну своего могущества, и знамение победы... Господь не пожелал этого. Великие замыслы, перехваченные врагом, который, и утолив свою ненависть, все еще ненавидел нас, враждебно встреченные самими французами, не нашедшие настоящей поддержки даже у тех, кто сам их взлелеял, рухнули в один день. Перед Генрихом Богоданным [{48}](#) закрыли границу родины, и народ предался республике; иными словами — он отрекся от своего наследия, отказался от своих прав и обязанностей ради того, чтоб управлять собой по собственной воле и жить, как ему вздумается, наслаждаясь свободой, которая в боге видела помеху, а потому и свергла его образ и подобие на земле — порядок и законность. С этих пор зло вошло на престол и стало издавать свои эдикты. Церковь, терпевшую непрерывные ущемления, коварно поставили перед выбором: или невозможное для нее отречение, или преступный бунт.

Бержере. К ущемлениям вы относите, разумеется, и такие меры, как изгнание конгрегаций?

Лантень. Совершенно очевидно, что изгнание конгрегаций — порождение злой воли и следствие нечестивого расчета. Совершенно несомненно также и то, что изгнанные монахи не заслужили такого обращения. Нанося удар им, думали нанести удар церкви. Но удар был плохо рассчитан и только укрепил организм, который желали расшатать, ибо к приходским церквям вернулись власть и доходы, отошедшие от них. Наши враги не знали церкви; а их тогдашний глава, менее невежественный, нежели они, но стремившийся скорее убогатворить их, чем уничтожить нас, вел с нами притворную и чисто внешнюю борьбу. Ибо я не могу считать действительным нападением изгнание недозволенных конгрегаций. Разумеется, я чту жертвы этого неудачного преследования, но я полагаю, что французская церковь обойдется и без монахов и белое духовенство само сумеет наставить и направить верующих. Увы! Республика нанесла церкви более глубокие и более скрытые раны. Вы слишком хорошо знакомы с вопросами преподавания, господин Бержере, и сами видите многие из этих ран, но самая тяжелая рана нанесена тем, что сан епископа дается пастырям, нищим умом и духом... Я сказал достаточно. Христианин находит утешение и силы в том, что церковь не прейдет. А в чем найдет утешение патриот? Он видит, что все государство поражено гангреной и живо разлагается. И как быстро пошло разложение за последние двадцать лет! Во главе государства — человек, единственное достоинство которого бессилие и которого объявляют преступником, как только заподозрят, что он что-то делает или хотя бы мыслит; министры, подчиненные неспособному и, по общему мнению, продажному парламенту, членов которого, с каждым днем все более невежественных, намечают, избирают, обрабатывают на нечестивых франкмасонских собраниях, дабы содейть зло, на которое они даже неспособны,— но зло, содеянное их суесловным бездействием, еще горше; чиновничество, с каждым днем все более разрастающееся, огромное, жадное, злобное, в котором республика думает найти опору, тогда как на самом деле она кормит себе на погибель толпу тунеядцев; судейская братия, набранная вопреки правилам и справедливости, которая слишком часто испытывает давление со стороны правительства, и потому сомнительно, чтобы она не потворствовала преступникам; армия, которую, как и весь народ, заражают пагубным духом своеволия и равенства, дабы затем весь народ, пройдя через армию, возвратился в города и веси развращенным казармой, неспособным к ремеслам и мастерству, презирающим труд; учительство, которому вменено

в обязанность учить безбожию и безнравственности; дипломатический корпус, который предоставляет заботу о нашей внешней политике и заключение союзов лавочникам, продавщицам и журналистам, ибо сам не имеет на то времени и не пользуется авторитетом. Все власти — законодательная и исполнительная, судебная, военная и гражданская — спутаны, смешаны, одна уничтожает другую. Словом, режим смехотворный, который в своей разрушительной силе дал обществу два наиболее смертоносных орудия, когда-либо изобретенных нечестием,— развод и мальтузианство. И весь этот беглый перечень зол неотъемлем от республики и естественно из нее вытекает, ибо республика, по самой природе своей,— зло. Она — зло, ибо восхотела свободы, которой не восхотел господь, потому что он наш владыка и передал частицу своей власти духовенству и королям; она — зло, ибо восхотела равенства, которого не восхотел господь, потому что он установил иерархию на небесах и на земле; она — зло, ибо установила терпимость, которую не может восхотеть господь, потому что нельзя быть терпимым ко злу; она — зло, ибо считается с волей народа, как будто толпа невежд значит больше, чем несколько людей, подчиняющихся воле божьей, которая простирается на правительство и на все мелочи управления, как великое начало, последствия коего неотвратимы; она — зло, потому что провозглашает религиозный индифферентизм, иными словами нечестие, безбожие, богохульство, наличие коих даже в самой малой степени — смертный грех, провозглашает свою приверженность к многоликости, а многоликость — зло и смерть.

Бержере. Господин аббат, а ведь только что вы говорили, будто вы, как и папа, республиканец и хотите жить в добром согласии с республикой?

Лантень. Ну, конечно, я буду жить в смирении и послушании. Восстав на нее, я поступил бы согласно ее принципам и противно своим. Если бы я стал мятежником, я походил бы на нее, а не на себя. Не дозволено быть злым со злыми. Власть принадлежит ей. Если она плохо властвует или не властвует вовсе — это ее преступление. Да пребудет оно с ней. Мой долг — в послушании. Я выполню его. Я не выйду из послушания. И в сане священника, и, если это будет угодно господу богу, в сане епископа я ничем не нарушу своего долга по отношению к республике. Я всегда помню, что святой Августин в осажденной вандалами Гиппоне умер епископом и римским гражданином. Я, недостойный член славной галликанской церкви, по примеру величайшего богослова, молившего господа отвести вандалов, умру во Франции священником и французским гражданином.

Тень от вязов стала передвигаться на восток. Свежее дуновение

отдаленной грозы коснулось листьев. По рукаву г-на Бержере ползла божья коровка, а он приветливым тоном говорил аббату Лантеню:

— Господин аббат, с красноречием, в наши дни свойственным только вашим устам, вы нарисовали в главных чертах демократический строй. Строй этот примерно таков, каким вы его изображаете. И все-таки я предпочитаю его всякому другому. Все связи в нем распались, это ослабляет государство, но облегчает жизнь людям и создает известную нетребовательность и свободу, которую, к сожалению, подавляет тирания на местах. Коррупция проявляется при нем, несомненно, сильнее, чем при монархии. Это зависит от того, что у власти стоит слишком много людей и притом различных. Но эта коррупция не так бросалась бы в глаза, если бы лучше соблюдалась тайна. Неумение соблюдать тайну и недостаточная последовательность сводят на нет любое действие демократической республики. Но, памятуя, что действия монархии чаще всего были пагубны для государства, я доволен, что живу при правительстве, неспособном на великие замыслы. Что меня особенно радует в нашей республике, так это ее искреннее желание не затевать войн с Европой. Военщина ей по душе, но воинственность — нет. Другие правительства, взвешивая возможный исход войны, опасаются только поражения. Наше правительство с полным основанием опасается в одинаковой мере и победы и поражения. Этот спасительный страх обеспечивает нам мир, величайшее благо.

Самый большой недостаток современного строя в том, что он слишком дорого стоит. Он не пускает пыль в глаза, роскошью похвастаться не может, женщинами и лошадьми не блещет. Но, несмотря на свой скромный вид и небрежную внешность, он расточителен. У него на попечении слишком много бедных родственников и друзей. Он — мот. Но хуже всего то, что он живет за счет утомленной страны, переставшей богатеть, теряющей силы. А режим нуждается в деньгах. Он начинает осознавать свое затруднительное положение. Но положение это более затруднительно, чем он думает. И затруднения будут еще расти. Болезнь эта не новая. От нее скончался старый режим. Господин аббат, я скажу вам великую истину: пока государство довольствуется средствами, которые ему доставляют неимущие, пока ему хватает налогов, которые с точностью машины обеспечивают ему те, кто живет трудами рук своих, до тех пор оно живет в покое, в довольстве, в чести. Экономисты и финансисты охотно признают его безукоризненно честным. Но пусть только несчастное государство, побуждаемое нуждой, попробует обратиться за деньгами к тем, у кого они есть, и вытряхнуть из богачей какой-нибудь жалкий налог, ему сейчас же поставят на вид, что оно совершает ужасное посягательство, нарушает все

законы, не уважает священных прав, разрушает торговлю и промышленность и, протягивая руку к богачам, утесняет бедняков. От него не будут скрывать, что оно само себя бесчестит. И искреннее презрение добропорядочных граждан ему обеспечено. А между тем разорение надвигается медленно, но верно. Государство начинает растрачивать свой основной капитал. Оно погибло.

Министры издеваются над нами, крича о клерикальной или социалистической опасности. Опасность только одна — финансовая. Республика начинает это понимать. Я ей сочувствую, и я буду жалеть о ней. Я был воспитан при империи в любви к республике. «Республика справедлива», — говаривал мой отец, преподаватель риторики в лицее Сент-Омер. Он ее не знал. Она не справедлива. Но она не требовательна. Если бы не ваш возвышенный образ мыслей, не ваша серьезность, не ваша нелюбовь к легкой игре ума, я признался бы вам, что нынешняя республика, республика тысяча восемьсот девяносто седьмого года, мне нравится и трогает меня своей скромностью. Она согласна, чтобы ею не восхищались, не претендует на особое почтение и даже не требует к себе уважения. Она довольствуется тем, что живет. Это ее единственное желание, — оно законно. Самые маленькие козявки, и те хотят жить. Как дровосек в басне [{49}](#), как мантуанский аптекарь [{50}](#), который так поразил молодого безумца Ромео, она страшится смерти, и это ее единственный страх. Она не доверяет монархам и военным. Под угрозой смерти она может рассвирепеть. Под влиянием страха она может выйти из своего обычного состояния и впасть в ярость. А это было бы очень печально. Но пока не покушаются на ее жизнь, а посягают лишь на ее честь, она не теряет добродушия. Такое правительство как раз по мне, с ним спокойнее. Сколько было правительств, безжалостных из-за самолюбия! Сколько правительств утверждало жестокостями свои права, могущество и процветание! Сколько правительств кровью добивалось первенства и величия! У нашей республики нет чувства самолюбия, чувства величия. И это большое счастье, ибо, пока у нее нет этих чувств, она безвредна!

Не мешайте ей жить, это все, что требуется. Управляет она мало. В моих глазах за это она заслуживает самой большой похвалы. А раз она управляет мало, я прощаю ей то, что она управляет плохо. Я подозреваю, что люди во все времена преувеличивали необходимость в управлении и благоденствия сильной власти. Безусловно, сильная власть обеспечивает народу величие и благоденствие. Но в течение веков народы столько натерпелись из-за этого самого величия и благоденствия, что отказ от них мне понятен. Слава обошлась им слишком дорого; как же нам не быть

благодарными нашим теперешним правителям за то, что они не ищут иной славы, кроме колониальной. Если бы люди, наконец, поняли, что от правительства нет никакой пользы, то на это неоценимое открытие их натолкнула бы республика господина Карно. И за это ему надо быть благодарным. По зрелом размышлении я пришел к выводу, что очень привязан к нашему строю.

Так говорил г-н Бержере, преподаватель филологического факультета.

Аббат Лантень встал, вынул из кармана синий клетчатый носовой платок, вытер губы, положил платок обратно в карман, улыбнулся против своего обыкновения, поправил подмышкой тревник и сказал:

— Речи ваши приятны, господин Бержере. Так говорили римские риторы, когда Аларих со своими вестготами вступал в Рим. Однако риторы пятого века обменивались под вечнозелеными деревьями Эсквилина [{51}](#) менее суетными мыслями. Ибо Рим в те времена был городом христианским. А вы уже не христианин.

— Господин аббат,— ответил преподаватель филологического факультета,— я буду рад, если вас сделают епископом, только бы вас не сделали министром просвещения.

— Верно, господин Бержере,— ответил аббат, громко рассмеявшись,— будь я министром просвещения, я запретил бы вам обучать молодежь.

— И отлично бы сделали. Тогда бы я стал писать в газетах как господин Жюль Леметр [{52}](#), и, кто знает, может быть, как и он.

— Что же, вы были бы как раз на месте среди всех этих острословов. Вольнодумцы в чести во Французской академии.

Он сказал и удалился, прямо, твердо и тяжело ступая. Г-н Бержере остался один на скамейке, на три четверти покрытой теперь тенью. Божья коровка доползла до его плеча, расправила крылышки и улетела. Он сидел и думал. Он не был счастлив. У него был тонкий ум, острия которого не всегда были направлены только наружу, и часто г-н Бержере сам натыкался на колючки своей язвительной критики. Он был малокровен, желчен, отличался капризным желудком и какими-то ослабленными чувственными восприятиями, доставлявшими ему скорее всякие неприятности и страдания, нежели радость и удовольствия. Он был несдержан на язык и часто проявлял неловкость, которая по точности и безошибочности действия не уступала самой изощренной ловкости. С редким искусством ловил он всякий случай повредить себе. Большинству людей он внушал инстинктивную антипатию и страдал от этого, ибо от природы был разговорчив и любил общество себе подобных. Ему никак не удавалось

вырастить учеников. Он читал курс римской литературы в темном, сыром и пустом подвале, куда его в своем запальчивом недоброжелательстве загнал декан. А здание университета было достаточно просторно. Оно было построено в 1894 году, и «это новое помещение,— как сказал на его открытии префект Вормс-Клавлен,— свидетельствовало о том, что республиканское правительство заботится о распространении знаний». Там была аудитория амфитеатром, расписанная аллегорическими фигурами кисти г-на Леона Глеза, изображающими различные науки; в ней г-н Компаньон с большим успехом читал курс математики. Остальные красножелтые тогоносцы [{53}](#) преподавали различные науки в прекрасных, светлых аудиториях. Один г-н Бержере, преследуемый ироническим взглядом педеля, спускался в сопровождении трех слушателей в мрачный подвал. Там в спертом, вредном воздухе толковал он «Энеиду» с немецкой эрудицией и французским остроумием; там повергал он в уныние своим литературным и моральным пессимизмом г-на Ру, родом из Бордо, своего лучшего ученика; там высказывал он взгляды, отпугивавшие своей оригинальностью; там изрек он однажды вечером ставшие знаменитыми слова, которым лучше было бы погибнуть, замереть во тьме подвала: «Илиада и Одиссея составлены из неумело спаянных отрывков различного происхождения. Вот образцы, которым подражали в своих сочинениях Virgilius, Fenelon и вообще классические авторы, как прозаики, так и поэты».

Господин Бержере не был счастлив. Он не имел никаких почетных званий. Правда, он презирал почести. Но он чувствовал, что куда прекрасней презирать их, когда они у тебя есть. Он был непопулярен и менее известен в городе своими научными работами, чем г-н де Термондр, автор «Путеводителя для туристов»; чем генерал Милер, пользующийся славой в департаменте плодовитый сочинитель; даже менее, чем г-н Альбер Ру, собственный ученик г-на Бержере, родом из Бордо, автор «Нирея» [{54}](#), поэмы, написанной свободным стихом. Он, конечно, презирал литературную славу, зная, что европейская слава Virgilius покоится на двух нелепостях, одной несуразности и одной нескладице. Но он страдал оттого, что не общается с такими учеными, как Фаге [{55}](#), Думик [{56}](#) или Пелисье [{57}](#), которые, по его мнению, были близки ему по своему духу. Он мечтал познакомиться с ними, жить в Париже, писать в тех же журналах, спорить, сравниваться с ними, быть может даже превзойти их. Он сознавал, что умен, и был уверен, что кое-какие написанные им страницы весьма недурны.

Он не был счастлив. Он был беден, жил с женой и двумя дочерьми в тесной квартирке и чрезвычайно болезненно ощущал неудобства совместной жизни; огорчался, когда находил у себя на письменном столе папилютки или когда обнаруживал, что его рукописи подпалены щипцами для завивки. Нигде на всем свете не чувствовал он себя спокойно и уютно, разве только тут, на скамейке в городском саду, под тенью древнего вяза, да в букинистическом углу у книгопродавца Пайо.

Он поразмыслил еще немного о своей печальной доле, потом встал со скамейки и побрел по дороге, ведущей к книгопродавцу.

XIV

Когда г-н Бержере вошел в лавку, книгопродавец Пайо, засунув карандаш за ухо, просматривал «возвраты». Он складывал в стопки книжки в желтых обложках, выгоревших на солнце и засиженных мухами,— все залежавшиеся экземпляры, которые он отсылал обратно издателям... Г-н Бержере увидел в «возвратах» книжки, которые любил. Его это не огорчило, ему не хотелось бы, чтобы любимые им авторы пользовались успехом у толпы, для этого у него был слишком утонченный вкус.

По своему обыкновению он забрался в букинистический угол, взял по привычке XXXVIII том «Всеобщей истории путешествий». Книга в зеленом сафьяновом переплете сама раскрылась на странице 212-й, и г-н Бержере еще раз прочел неизбежные строки: «...искать проход на север. „Именно этой неудаче,— сказал он,— мы обязаны тем, что имели возможность вновь посетить Сандвичевы острова...“»

И на г-на Бержере напала тоска.

Господин Мазюр, департаментский архивариус, и г-н де Термондр, председатель Общества земледелия и археологии, за которыми было закреплено право на плетеные стулья в букинистическом углу, зашли в это время в лавку. Г-н Мазюр был выдающимся палеографом, но жил он весьма неприглядно. Он был женат на кухарке своего предшественника архивариуса и ходил по городу в продавленной соломенной шляпе. Он принадлежал к радикалам и публиковал документы, относящиеся к истории города во времена революции. Он любил бранить департаментских роялистов, но с тех пор как ему было отказано в знаках академического отличия, о которых он хлопотал, он начал бранить и своих политических друзей, главным образом префекта Вормс-Клавлена.

Он был ругатель по природе, а профессиональная привычка раскапывать тайны предрасполагала его к злословию и клевете. Тем не менее он был приятен в обществе, особенно за ужином, когда пел застольные песни.

— Слыхали? — сказал он г-ну де Термондру и г-ну Бержере.— Префект встречается с женщинами в лавке у Рондоно-младшего. Его там застали. И аббат Гитрель тоже там свой человек. А в описи недвижимости за тысяча семьсот восемьдесят третий год этот дом так и значится домом двух сатиров.

— Но в лавке Рондоно-младшего,— возразил г-н де Термондр,—

женщин легкого поведения нет.

— Их туда приглашают,— отпарировал архивариус Мазюр.

— Кстати,— сказал г-н де Термондр,— я слышал, дорогой господин Бержере, будто в городском саду вы повергли в ужас моего старого приятеля, аббата Лантеня, циничным признанием своей политической и социальной аморальности. Говорят, что вы не признаете ни права, ни устава...

— Это не так,— ответил г-н Бержере.

— ...что вам безразличен образ правления.

— Все нет! Но, откровенно говоря, я не придаю особого значения форме правления. От смены режима в жизни людей ничего не меняется. Мы зависим не от конституций и хартий, а от собственных инстинктов и нравов. Изменение названий общественных учреждений ни к чему не ведет. Революции устраивают дураки и честолюбцы.

— Десять лет тому назад,— сказал г-н Мазюр,— я бы голову положил за республику, а теперь пусть летит себе кувырком, я буду смотреть сложа руки и посмеиваться. Старыми республиканцами пренебрегают. В чести только «присоединившиеся»; речь, конечно, не о вас, господин де Термондр. Но мне все опостылело. Я начинаю думать, как и господин Бержере. Все правительства неблагодарны.

— Все они бессильны,— сказал г-н Бержере.— Я захватил с собой небольшой рассказ и очень хотел бы вам его прочитать. В основу я положил историю, которую не раз слышал от отца. Из него явствует, что абсолютная власть — это полное бессилие. Мне хотелось бы знать ваше мнение насчет этого пустячка. Если он вам понравится, я пошлю его в «Парижское обозрение».

Господин де Термондр и г-н Мазюр пододвинули стулья поближе к г-ну Бержере, а тот достал из кармана тетрадь и начал читать слабым, но внятным голосом:

«ТОВАРИЩ ПРОКУРОРА

Министры собрались...»

— Позвольте и мне послушать,— сказал книгопродавец г-н Пайо.— Я жду Леона, а его все нет. Пошлешь его за чем-нибудь, а потом никак не дождешься. Самому приходится и за лавкой смотреть и покупателям отпускать. Но хоть сколько-нибудь послушаю. Тоже хочется ума понабраться.

— Очень хорошо, Пайо,— сказал г-н Бержере.

И он снова начал:

«ТОВАРИЩ ПРОКУРОРА

Министры собрались на совет под председательством императора в одной из зал Тюильрийского дворца. Наполеон III молча делал пометки карандашом на плане рабочего квартала. Его бледное продолговатое лицо выделялось своей унылой задумчивостью среди квадратных краснощеких физиономий людей практических. Он приоткрыл веки, обвел овальный стол неопределенным взглядом и спросил:

— Больше нет дел к рассмотрению, господа?

Его негромкий голос, как бы приглушенный густыми усами, казалось, доносился издалека.

Тут министр юстиции мигнул министру внутренних дел, чего тот как будто не заметил. Министром юстиции был тогда господин Деларбр, из судейской семьи, проявивший на высоких юридических постах гибкость и умеренность, иногда неожиданно сменяющуюся сознанием своего профессионального достоинства и непреклонностью. Говорили, будто с тех пор, как он стал сторонником императрицы и ультрамонтанов ^{58}, он часто преисполнялся духом янсенизма ^{59}, которым отличались великие адвокаты, его предки. Но те, кто знал его ближе, считали его человеком придиричвым, несколько взбалмошным, не интересующимся делами государственной важности, недоступными его пониманию, зато настойчивым в мелочах, ибо он был недалек и падок на интриги.

Император оперся обеими руками на золоченые локотники своего кресла и собрался встать. Деларбр, видя, что министр внутренних дел уткнул нос в бумаги и избегает его взгляда, сам обратился к нему:

— Простите, дорогой коллега, что я подымаю вопрос, который касается вашего ведомства, но тем не менее интересуется и нас. Вы сами выразили желание предложить на рассмотрение совета вопрос о чрезвычайно щекотливом положении, в какое попал известный нам судейский чиновник по вине префекта одного из западных департаментов.

Министр внутренних дел пожал своими широкими плечами и несколько нетерпеливо поглядел на Деларбра. У него был довольный и в то же время брюзгливый вид, свойственный вершителям человеческих судеб.

— Ох,— сказал он,— это болтовня, бабьи сплетни, выдумки, которые я постеснялся бы доводить до сведения вашего величества, если бы мой коллега из министерства юстиции не придавал им значения, какого я лично положительно не нахожу.

Наполеон III снова принялся что-то чертить.

— Дело идет о префекте департамента Нижней Луары,— продолжал министр.— Этот чиновник пользуется у себя в департаменте славой Дон-

Жуана. И утвердившаяся за ним репутация волокиты, а также всем известная его любезность и преданность существующему строю немало способствовали его популярности в округе. Его ухаживание за госпожой Меро, супругой прокурора, всем известно и обсуждается на все лады. Согласен, префект Пелиссон дал пищу скандальной нантской хронике; в кругах местной буржуазии, особенно в домах, где бывают судейские, его строго осуждают. Разумеется, было бы нежелательно, чтобы продолжалось такое поведение господина префекта Пелиссона в отношении госпожи Меро, само положение которой, казалось бы, должно было ее оградить от всяких двусмысленных притязаний. Но по моим сведениям, госпожа Меро не была определенно скомпрометирована, и я смею утверждать, что нет оснований опасаться скандала. При некоторой предусмотрительности и внимании это дело не будет иметь неприятных последствий.

Окончив свою речь, министр внутренних дел закрыл портфель и откинулся на спинку кресла.

Император молчал.

— Позвольте, дорогой коллега,— сухо сказал министр юстиции,— жена генерального прокурора нантского суда состоит в любовницах префекта Нижней Луары; это обстоятельство, известное всему ведомству, бросает тень на судейское сословие в целом. Вот на это-то положение вещей и следует обратить внимание его величества.

— Конечно,— заметил министр внутренних дел, устремив взор к аллегорическим фигурам на потолке,— конечно, подобные факты прискорбны; однако не надо преувеличивать: я допускаю, что префект Нижней Луары был несколько легкомыслен,— а госпожа Меро несколько неосторожна, но...

Окончание своей мысли министр предназначил мифологическим фигурам, парившим в лазури потолка. На минуту воцарилось молчание, стало слышно наглое чириканье воробьев, сидевших на деревьях в саду и на карнизах дворца.

Господин Деларбр покусывал тонкие губы и дергал свои корректные, однако не лишённые кокетливости бакенбарды. Он снова заговорил:

— Простите мою настойчивость: полученные мной секретные сведения не позволяют сомневаться насчет характера отношений между господином Пелиссоном и госпожой Меро. Уже два года как установились эти отношения. Дело в том, что в сентябре позапрошлого года префект Нижней Луары достал господину прокурору приглашение на охоту к графу де Моранвилю, депутату от третьего округа департамента Нижней Луары, и в отсутствие мужа проник в спальню к госпоже Меро. Он прошел через

огород. Наутро садовник заметил следы и уведомил полицию. Начались розыски; арестовали даже какого-то бродягу, которому не удалось доказать свою непричастность, и посему он несколько месяцев просидел в предварительном заключении. Впрочем, он вообще был на плохом счету и никого особенно не интересовал. И еще по сей день прокурор вместе с небольшой кучкой людей упорно обвиняет его в покушении на кражу со взломом. Но это не меняет положения; я повторяю, оно все так же неприятно и подрывает престиж судебного ведомства.



По своему обыкновению министр внутренних дел бросил несколько веских фраз, под давлением которых прекращались все споры. Он сказал, что крепко держит в руках префектов, что сумеет внушить господину Пелиссону правильный взгляд на вещи и что незачем принимать строгие меры против умного и старательного чиновника, пользующегося любовью у себя в департаменте и незаменимого «с точки зрения выборов». Кто же больше министра внутренних дел заинтересован в том, чтобы департаментские власти и судебный мир жили в добром согласии?

Меж тем император слушал и молчал с задумчивым видом. Вероятно, он думал о давно минувшем, потому что неожиданно сказал:

— Бедный господин Пелиссон, я знал его отца. Его звали Анахарсис Пелиссон. Он был сыном республиканца тысяча семьсот девяносто второго года. И сам он был республиканцем и при июльской монархии сотрудничал в оппозиционных газетах. Когда я сидел в заключении в крепости Гам [{60}](#),

он прислал мне ласковое письмо. Вы не можете себе представить, сколько радости приносит заключенному малейшее проявление сочувствия. Затем наши пути разошлись. Мы так и не увидались. Он умер.

Император закурил папиросу, на минуту задумался. Затем сказал, вставая:

— Господа, я вас больше не задерживаю.

И нескладный, как большекрылая птица, когда она переступает по земле, он удалился в свои личные покои, а министры один за другим прошли длинной анфиладой зал, сопровождаемые унылым взглядом лакеев. Маршал — военный министр — протянул портсигар министру юстиции.

— Господин Деларбр, пройдемся немного? Мне хочется размять ноги.

Идя по улице Риволи, вдоль решетки, окружающей террасу Фельянов, маршал сказал:

— Сигары я люблю только дешевые, очень крепкие. Все остальные кажутся мне приторными, как варенье. Можете себе представить?..

Он забыл, о чем говорил. Затем начал снова.

— Скажите: Пелиссон, о котором вы говорили сейчас на совете,— это сухонький чернявый человек, лет пять тому назад бывший супрефектом в Сен-Дие?

Деларбр ответил, что Пелиссон действительно был супрефектом в Вогезах.

— Так и думал, я знаю этого самого Пелиссона. И госпожу Пелиссон я тоже отлично помню. Я сидел рядом с ней за обедом в Сен-Дие, куда приезжал на открытие какого-то памятника. Можете себе представить?..

— Что это за женщина? — спросил Деларбр.

— Небольшого роста, черная, тоненькая. С виду худая. Утром, в закрытом платье, совсем не интересна. А вечером, за столом, декольтированная, с цветами на груди, очень приятна.

— А в нравственном отношении?

— В нравственном?.. Я ведь, кажется, не дурак, а вот ничего не понимаю в женской нравственности. Одно могу сказать, что госпожу Пелиссон считали чувствительной особой. Говорили, будто она равнодушна к красивым мужчинам.

— Она дала вам это понять?

— Нисколько. За десертом она сказала: «Я обожаю людей, обладающих даром слова. Возвышенные речи приводят меня в восторг». Я не мог отнести это на свой счет. Правда, утром я произнес речь. Но сочинить ее приказал своему адъютанту, близорукому артиллерийскому

офицеру. Она была написана таким бисерным почерком, что я ничего не мог разобрать... Можете себе представить?..

Они дошли до Вандомской площади. Деларбр протянул маршалу маленькую сухую руку и нырнул под своды министерства.

* * *

На следующей неделе, по окончании совета, когда министры уже собирались уходить, император, положив руку на плечо министру юстиции, сказал:

— Дорогой господин Деларбр, я случайно узнал,— в моем положении все узнается случайно,— что в нантской судебной палате освободилось место товарища прокурора. Прошу вас иметь в виду на этот пост молодого, весьма достойного доктора прав, который написал замечательную диссертацию о тред-юнионах. Фамилия его Шано. Это племянник госпожи Рамель. Сегодня он собирается просить у вас аудиенции. Если вы мне предложите это назначение, я с удовольствием подпишу его.

Император с нежностью произнес имя своей молочной сестры, которую продолжал любить, хотя она — заядлая республиканка — отвергала его авансы и, несмотря на то, что была вдова, что бедствовала, что жила в мансарде, отказывалась от помощи монарха и, нисколько того не скрывая, возмущалась государственным переворотом. Но спустя пятнадцать лет, уступив, наконец, настойчивому расположению Наполеона III, она, в знак примирения, обратилась к нему с просьбой, не для себя лично, а для своего племянника Шано, молодого доктора прав,— красы университета, как говорили профессора. К тому же в просьбе, с которой г-жа Рамель обратилась к своему молочному брату, не было ничего исключительного: назначение г-на Шано в судебную палату было вполне законно. Но г-жа Рамель страстно желала, чтобы ее племянника послали в департамент Нижней Луары, где жили его родители. Наполеон, вспомнив об этом обстоятельстве, сообщил его министру юстиции.

— Было бы очень желательно,— сказал он,— чтобы мой кандидат был назначен именно в Нант: он сам оттуда, там живут его родители. Это соображение весьма важно для молодого человека, небогатого и склонного к семейной жизни.

— Шано... трудолюбивый, знающий и небогатый...— начал министр.

Он прибавил, что приложит все усилия и постарается исполнить волю

его величества. Он боялся только одного, как бы прокурор уже не представил списка кандидатов, в котором, понятно, не мог быть упомянут Шано. Прокурором был тот самый г-н Мери, о котором шла речь на предыдущем заседании. Не хотелось бы, конечно, действовать против планов прокурора. Но он постарается дать этому делу ход, соответственно желанию, выраженному его величеством.

Он поклонился и вышел. Был его приемный день. Войдя в кабинет, он тотчас же спросил Лабарта, своего секретаря, много ли народу в приемной. Там ожидали два председателя суда, советник кассационной палаты, кардинал-архиепископ никоидийский, много судей, адвокатов и духовных лиц. Министр спросил, нет ли там некоего Шано. Лабарт порылся в визитных карточках, лежавших на серебряном подносе, и отыскал карточку Шано, доктора прав, удостоенного премии Парижского юридического факультета. Министр распорядился просить его первым, но провести через служебное помещение, дабы не обидеть представителей судебного ведомства и духовенства.

Министр сел к столу и пробормотал про себя: «Чувствительная особа, по словам маршала, равнодушна к красивым мужчинам, обладающим даром слова...»

Служитель ввел в кабинет долговязого сутулого молодого человека в очках, с вытянутым черепом; все нескладное его существо выражало одновременно застенчивость человека, привыкшего к уединенной жизни, и дерзость мыслителя.

Министр юстиции осмотрел вошедшего с головы до ног и обратил внимание, что в лице у него есть что-то детское, а сам он узкогруд. Он пригласил его сесть. Шано присел на краешек кресла, закрыл глаза и заговорил, не жалея слов:

— Господин министр, я пришел просить вас оказать мне благоволение и принять в судейское сословие. Быть может, вы, ваше превосходительство, сочтете, что отметки, полученные различных экзаменах, и премия, присужденная за работу о тред-юнионах, могут служить достаточным основанием и что племянник госпожи Рамель, молочной сестры императора, не совсем недостоин...

Министр юстиции прервал его движением своей сухонькой желтой руки.

— Разумеется, господин Шано, разумеется, вам оказано высочайшее покровительство, которое не может пасть на недостойного. Я знаю, император принимает в вас большое участие. Вы хотели бы получить пост товарища прокурора, господин Шано?

— Ваше превосходительство,— ответил Шано,— я был бы больше чем удовлетворен, если бы вы назначили меня товарищем прокурора в Нант, где живет моя семья.

Деларбр посмотрел на Шано своими свинцовыми глазами и сухо сказал:

— В нантской прокуратуре нет вакансий.

— Извините, ваше превосходительство, но мне казалось...

Министр поднялся:

— Вакансий нет.

Шано уже пошел к двери, отвешивая неловкие поклоны, и стал искать выхода, но тут министр сказал ему убедительным и почти конфиденциальным тоном:

— Поверьте, господин Шано, отсоветуйте вашей тетушке обращаться с новыми просьбами, они вам не помогут, а, возможно, даже и повредят. Помните, что император принимает в вас большое участие, и положитесь на меня.

Как только дверь закрылась, министр позвал своего секретаря:

— Лабарт, приходите с вашим кандидатом.

* * *

Вечером, в восемь часов, Лабарт вошел в дом на улице Жакоб, поднялся по лестнице под самую крышу и крикнул с площадки:

— Лепарда, готов?

Открылась дверь в крошечную мансарду. На полке лежало несколько юридических книг и растрепанных романов; над кроватью висели черная бархатная полумаска с кружевом, букетик засохших фиалок и рапиры. На стене — плохой портрет Мирабо, гравированный на меди. Посреди комнаты высокий молодой брюнет упражнялся с гантелями. У него были курчавые волосы, низкий лоб, карие, поразительно ласковые смеющиеся глаза, нос с трепетными, как у лошади, ноздрями, полуоткрытый красивый рот и волчьи зубы.

— Я ждал тебя,— сказал он.

Лабарт стал торопить его, чтоб он одевался. Он был голоден. Когда же, наконец, обед?

Лепарда, положив гантели на пол, снял пиджак; у него были широкие плечи и шея Геркулеса, на которой сидела круглая голова.

«Меньше двадцати шести ему не дашь»,— подумал Лабарт.

Как только Лепарда надел сюртук, под тонким сукном которого вырисовывалась его могучая мускулатура, Лабарт вытолкнул его за дверь.

— Через три минуты мы будем у Маньи. У меня министерская карета.

В ресторане они заняли отдельный кабинет, чтобы переговорить на свободе.

После камбалы и баранины Лабарт кратко и точно изложил дело:

— Слушай хорошенько, Лепарда. Завтра ты повидаешь моего министра, в четверг твое назначение будет предложено нантским прокурором, а в понедельник — представлено императору на подпись. Ему подсунут его в то время, как он будет занят с Альфредом Мори [{61}](#) вопросом о местоположении Алезии. Когда император изучает топографию Галлии времен Цезаря, он подпишет все что угодно. Но помни хорошенько, чего от тебя ждут. Ты должен снискать благоволение супруги префекта. Ты должен снискать его до конца. Только в таком случае судебное ведомство почтет себя отомщенным.

Довольный Лепарда уписывал за обе щеки и слушал, улыбаясь с наивным самомнением.

— Но,— сказал он,— что за мысль зародилась в голове у Деларбра? Я считал его ригористом.

Лабарт остановил его, подняв нож.

— Прежде всего, мой милый, пожалуйста, не скомпрометируй моего министра, он должен стоять совершенно в стороне от этого дела. Но раз ты упомянул о Деларбре, позволь тебе сказать, что его ригоризм — ригоризм янсенистский. Он внучатый племянник дьякона Париса. Дядя его матери — тот самый господин Карре де Монжерон, который выступал в суде в защиту фанатиков из монастыря святого Медара [{62}](#). А янсенисты при всем своем ригоризме любят смаковать альковные истории, у них есть склонность к дипломатическим и каноническим шалостям. Это следствие их строжайшего целомудрия. А потом — они ведь читают Библию. В ветхом завете сколько угодно историй, вроде твоей, дорогой Лепарда.

Лепарда не слушал. Он весь был погружен в наивную радость. Он вспоминал своих родителей, малосостоятельных аженских лавочников, и думал: «Что скажет отец? Что скажет мать?» Мысленно он уже как-то сближал свою только еще намечающуюся карьеру со славой Мирабо, любимого своего героя. Еще в коллеже мечтал он о жизни, в которой будет много женщин и красивых речей.

Лабарт вернул к действительности своего молодого друга.

— Вам известно, господин товарищ прокурора, что вас можно сменить. Если в течение положенного срока вы не сумеете снискать симпатию — я имею в виду полную симпатию — госпожи Пелиссон, то попадете в немилость.

— Но,— простодушно спросил Лепарда,— сколько времени мне дается на то, чтоб снискать безграничную симпатию госпожи Пелиссон?

— До каникул,— серьезно ответил секретарь министра.— Кроме того, мы всячески облегчим тебе дело, дадим секретные поручения, отпуска и тому подобное. Все, за исключением денег. Мы прежде всего правительство честное. Этому не верят. Но впоследствии узнают, что мы не обдeldывали своих личных делишек. Взять хотя бы Деларбра: про него не скажешь, что он нечист на руку. Притом секретные фонды принадлежат министерству внутренних дел, ведомству ее мужа. Чтобы соблазнить госпожу Пелиссон, можешь рассчитывать только на две тысячи четыреста франков жалованья и на собственную смазливую физиономию.

— А что, супруга моего префекта — хорошенькая? — спросил Лепарда.

Он задал этот вопрос небрежно, не придавая ему особого значения, спокойно, как очень молодой человек, для которого все женщины красивы. Вместо ответа Лабарт положил на стол карточку худой дамы в круглой шляпе, с двойными гладкими начесами, спускающимися на смуглую шею.

— Вот,— сказал он,— карточка госпожи Пелиссон. Министерство юстиции затребовало ее из полицейской префектуры, откуда она отправлена нам, как видишь, со штемпелем охранного отделения.

Лепарда схватил карточку своими квадратными пальцами.

— Красивая,— сказал он.

— Есть у тебя план,— спросил Лабарт,— продуманная система обольщения?

— Нет,— просто ответил Лепарда.

Лабарт, человек рассудительный, возразил, что следует все предусмотреть, все взвесить, дабы не попасть впросак при любых обстоятельствах.

— Разумеется,— прибавил он,— тебя будут приглашать в префектуру на балы, и ты будешь танцевать с госпожой Пелиссон. Ты умеешь танцевать? Покажи, как ты танцуешь.

Лепарда встал и, обняв стул, сделал тур вальса; он смахивал на добродушного медведя.

Лабарт с чрезвычайной серьезностью глядел на него в монокль.

— Тяжеловат, неловок, нет в тебе той неотразимой грации, которая...

— Мирабо танцевал плохо,— возразил Лепарда.

— Впрочем,— сказал Лабарт,— возможно, что стул тебя не вдохновляет.

Когда они вновь очутились на сырой и узкой улице Контрэскарп, навстречу им стали попадаться девицы, прогуливающиеся от перекрестка Бюси до кафе на улице Дофины. При свете фонаря они увидели дебелую, грузную девицу, в дешевеньком черном платье, шедшую угрюмо, едва волоча ноги. Лепарда вдруг обнял ее за талию, приподнял и, прежде чем она успела опомниться, сделал с ней несколько туров вальса по грязной мостовой и лужам.

Придя в себя от изумления, она разразилась самой отборной руганью по адресу своего кавалера, уносившего ее в неудержимом порыве. Оркестр изображал он сам, его теплый баритон возбуждал, как военная музыка, они вертелись так яростно, что во все стороны разлетались брызги и грязь; и вместе с девицей он натыкался на оглобли ночных фиакров и ощущал у себя на шее дыхание лошадей. После нескольких туров гнев ее остыл, она склонила голову на грудь молодого человека и шепнула ему на ухо:

— А ты красивый мальчик! Уж и любят тебя, верно, женщины! А?

— Хватит, голубчик! — крикнул Лабарт.— А то еще попадешь в участок. Я спокоен, ты отомстишь за судебное ведомство!

* * *

Четыре месяца спустя министр юстиции и культов, проходя как-то золотистым сентябрьским днем под аркадами улицы Риволи, увидел господина Лепарда, нантского товарища прокурора, в ту минуту, когда молодой юрист быстро входил в гостиницу «Лувр».

— Лабарт,— обратился министр к бывшему с ним секретарю,— вы знали, что ваш протеже в Париже? Значит, его ничто не удерживает в Нанте? Последнее время вы что-то не делаете мне никаких конфиденциальных сообщений на его счет. Первые его шаги меня заинтересовали, но я неуверен, вполне ли он отвечает тому лестному мнению, которое вы о нем составили.

Лабарт стал защищать товарища прокурора; он напомнил министру, что Лепарда был в законном отпуску, что в Нанте он с первых же дней завоевал доверие начальства и в то же время снискал благосклонность префекта.

— Господин Пелиссон,— прибавил он,— обойтись без него не может. Концерты в префектуре устраивает Лепарда.

Меж тем министр с секретарем продолжали свой путь по направлению к улице де-ла Пэ, вдоль аркад, изредка останавливаясь перед витринами фотографов.

— Слишком много наготы выставляют в витринах,— сказал министр. — Следовало бы обуздать эту распущенность. Иностранцы судят о нас по внешнему виду, а подобные выставки могут повредить доброй славе нашей страны и правительства.

Вдруг на углу улицы де-л'Эшель Лабарт обратил внимание министра на женщину под вуалью, быстро идущую им навстречу. Но Деларбр, окинув ее взглядом, нашел, что она весьма заурядна, слишком худа и неизящна.

— Она носит плохую обувь,— заметил он.— Это провинциалка.

Когда она прошла мимо, Лабарт сказал:

— Вы, ваше превосходительство, не ошиблись: это госпожа Пелиссон.

Услышав эту фамилию, министр заинтересовался и тут же повернул обратно. Смутное чувство собственного достоинства удерживало его. Но взгляд его светился любопытством.

Лабарт подзадорил его.

— Держу пари, господин министр, что она идет не очень далеко.

Они ускорили шаг, г-жа Пелиссон прошла вдоль аркад, очутилась на площади Пале-Рояль и, беспокожно оглянувшись по сторонам, исчезла в гостинице «Лувр».

Тогда министр расхохотался во все горло. Его маленькие свинцовые глазки загорелись. И он процедил сквозь зубы слова, которые секретарь скорее угадал, чем расслышал:

— Судебное ведомство отомщено!

* * *

В тот самый день император, имевший тогда пребывание в Фонтенебло, курил у себя в библиотеке. Он сидел неподвижно, словно меланхоличная морская птица, прислонившись к шкафу, где хранилась кольчуга Мональдески [{63}](#). Его приближенные, Виоле ле Дюк [{64}](#) и Мериме, были тут же.

Он спросил:

— Господин Мериме, почему вы любите произведения Брантома? [165](#)

— Государь,— ответил Мериме,— я узнаю в них французскую нацию с ее хорошими и дурными чертами. Самые дурные ее свойства проявляются тогда, когда у нее нет главы, который бы мог указать ей благородную цель.

— Вот как? Это явствует из Брантома? — сказал император.

— Из Брантома явствует также и то,— продолжал Мериме,— что женщины оказывают огромное влияние на государственные дела.

В это время г-жа Рамель вошла в галерею. Наполеон приказал допускать ее к себе без доклада. Когда он увидел молочную сестру, он проявил радость, насколько это было возможно при его унылых, неподвижных чертах.

— Дорогая госпожа Рамель,— обратился он к ней,— как чувствует себя ваш племянник в Нанте? Доволен?

— Но, государь, его туда не послали,— ответила г-жа Рамель,— на его место был назначен другой.

— Странно,— задумчиво пробормотал монарх.

Затем, положив руку на плечо академика, он сказал:

— Дорогой господин Мериме, думают, что я вершитель судеб Франции, Европы и всего света. А я не могу по своему усмотрению назначить товарища прокурора шестого класса на жалованье в две тысячи четыреста франков».

Окончив чтение, г-н Бержере сложил рукопись и убрал ее в карман. Г-н Мазюр, г-н Пайо, г-н де Термондр, все трое, молча кивнули головой.

Затем г-н де Термондр сказал, дотронувшись до рукава г-на Бержере:

— То, что вы нам прочли, дорогой профессор, действительно...

Тут в лавку влетел Леон и взволнованно и многозначительно крикнул:

— Госпожу Усье нашли задушенной в постели!

— Странно,— сказал г-н де Термондр.

— По состоянию трупа,— прибавил Леон,— предполагают, что смерть наступила три дня назад.

— Значит,— заметил архивариус Мазюр,— преступление было совершено в субботу.

Книгопродавец Пайо, стоявший с разинутым ртом и до сих пор не проронивший ни слова из уважения к смерти, стал припоминать:

— В субботу, около пяти часов пополудни, я ясно слышал приглушенные крики и шум как бы от падения тела. Я даже сказал здесь присутствующим господам (он поглядел на г-на де Термондра и на г-на Бержере), что в «доме королевы Маргариты» творится что-то неладное.

Никто не выразил восхищения остротой чувств и тонкой сообразительностью, которые приписывал себе книгопродавец, заподозривший преступление в тот момент, когда оно совершалось.

Почтительно помолчав, Пайо прибавил:

— В ночь с субботы на воскресенье я сказал жене: «Больше ничего не слышать в „доме королевы Маргариты“».

Господин Мазюр спросил, сколько лет было жертве преступления. Пайо ответил, что вдове Усье лет семьдесят девять, восемьдесят, что она овдовела пятьдесят лет тому назад, что у нее были земли, ценные бумаги и много денег, но она была скупа и чудаковата, не держала прислуги, сама стряпала в камине, у себя в спальне, и жила одна, окруженная старой мебелью и посудой, за четверть века покрывшимися густой пылью. Действительно, уже более двадцати пяти лет «дом королевы Маргариты» не подметался. Вдова Усье выходила редко, закупала провизию сразу на целую неделю и никого к себе не пускала, кроме приказчика из мясной да двух-трех мальчишек, бывших у нее на посылках.

— Считают, что преступление было совершено в субботу, после полудня? — спросил г-н де Термондр.

— Так предполагают по состоянию трупа,— ответил Леон.— Говорят, на него смотреть страшно.

— В субботу, после полудня,— продолжал г-н де Термондр,— мы были здесь, только стена отделяла нас от ужасной сцены, а мы беседовали о разных пустяках.

Снова наступило долгое молчание. Затем кто-то спросил, задержан ли уже убийца, или известно ли хотя бы, кто он. Но Леон при всем желании не мог ответить на эти вопросы.

В книжной лавке стало темновато от сплошной толпы зевак, собравшихся на площади перед домом, где произошло преступление. И темнота все сгущалась, в ней было что-то зловещее.

— Должно быть, ожидаются полицейский комиссар и следственные власти,— сказал архивариус Мазюр.

Пайо, отличавшийся замечательной предусмотрительностью, приказал Леону закрыть ставни. Он опасался, как бы любопытные не разбили стекло в витрине.

— Оставьте открытой только витрину, выходящую на улицу Тентельри,— сказал он.

В этой мере предосторожности все почувствовали известную деликатность. Завсегдатаи букинистического угла одобрили это. Но улица Тентельри была узкая, а окно с внутренней стороны было залеплено афишами и рисунками, и лавка погрузилась в полумрак.

Гул толпы, до сих пор мало заметный, в темноте стал как-то слышнее и разливался по лавке, глухой, властный, пожалуй даже грозный, выражая единодушное нравственное возмущение.

Взволнованный г-н де Термондр вновь повторил поразившую его мысль.

— Странно! — сказал он.— Тут совсем рядом совершалось преступление, а мы спокойно беседовали о разных пустяках.

Тогда г-н Бержере склонил голову к левому плечу, посмотрел вдаль и сказал так:

— Дорогой господин де Термондр, позвольте вам сказать, что тут нет ничего удивительного. Все не обязательно, чтобы в момент совершения преступного деяния сами собой обрывались разговоры на несколько миль или хотя бы на несколько шагов в окружности. Действие, внушенное даже самой преступной мыслью, приводит лишь к естественным результатам.

Господин де Термондр ничего не ответил на эти слова, а остальные присутствующие отвернулись от г-на Бержере со смутным чувством неловкости и осуждения.

Тем не менее преподаватель филологического факультета продолжал:

— Да и может ли столь естественный и заурядный факт, как убийство, привести к необычным и сверхъестественным результатам? Убийство — действие обычное для животного, в особенности — для человека. В человеческом обществе к убийству долгое время относились одобрительно, и в наших нравах и учреждениях еще сохранились следы этого древнего одобрения.

— Какие следы? — спросил г-н де Термондр.

— Ну, хотя бы тот почет, каким пользуются военные,— ответил г-н Бержере.

— Это совсем не то,— возразил г-н де Термондр.

— Конечно,— согласился г-н Бержере,— но всеми человеческими поступками движут голод и любовь. Голод научил варваров убийству, подвигнул их на войны и вторжения. Цивилизованные нации похожи на охотничьих собак. Извращенный инстинкт толкает их на бессмысленное и бесцельное разрушение. Бессмысленность современных войн именуется династическими или национальными интересами, европейским равновесием, честью. Последний довод, пожалуй, наиболее странный, ибо нет на свете нации, которая не запятнала бы себя всевозможными преступлениями и не покрыла всяческим позором. Нет нации, которая не испытала бы всех унижений, какие судьба посылает жалкой кучке людей. Если у наций все же сохранилось еще чувство чести, то странно поддерживать эту честь при помощи войны, то есть совершая все те преступления, которые бесчестят любого человека в отдельности: поджоги, грабежи, насилия, убийства. А действия, которыми движет любовь, в большинстве случаев такие же насильственные, такие же неистовые и жестокие, как и действия, вызванные голодом; таким образом невольно приходишь к выводу, что человек — животное зловерное. Остается выяснить, откуда я это знаю и почему испытываю чувство горечи и возмущения? Если бы существовало только зло, мы бы его не замечали, все равно как и ночь не имела бы названия, если бы ее не сменял день.

Однако г-н де Термондр отдал уже религии кротости и человеколюбия достаточную дань, упрекнув себя за легкомысленный и веселый разговор в тот момент, когда совершалось преступление, да еще так близко. Теперь трагический конец вдовы Усье начинал казаться ему случаем обыкновенным, на который можно взглянуть совершенно трезво, взвесив все его последствия. Он подумал, что отныне ничто не помешает ему приобрести «дом королевы Маргариты», разместить там свои коллекции, мебель, фарфор, гобелены и устроить таким образом нечто вроде

городского музея. За свои труды и щедроты он рассчитывал получить не только благодарность сограждан, но еще и орден Почетного легиона, а может быть и звание члена-корреспондента Французского института.

В Академии древней истории и языков у него было два-три приятеля, таких же старых холостяка, как и он сам. Когда он бывал в Париже, они завтракали вместе где-нибудь в кабачке и рассказывали друг другу пикантные анекдоты о женщинах. Члена-корреспондента от его округа в Академии не было.

Он уже подумывал о том, что надо бы сбить цену на вождеденный дом.

— «Дом королевы Маргариты»,— сказал он,— еле держится. Балки накатов прогнили и трухой осыпались на бедную старуху. Придется затратить огромные средства, чтобы привести его в должный вид.

— Лучше всего было бы снести его,— заметил архивариус Мазюр,— а фасад отправить во двор музея. Жаль будет, если герб Филиппа Трикульера пойдет на слом.

С площади донесся гул толпы. Полиция разгоняла народ, чтобы очистить следственным властям проход к месту преступления.

Пайо высунул нос в приоткрытую дверь и сказал:

— Вон следователь, господин Рокенкур со своим секретарем, господином Сюркуфом. Они вошли в дом.

Ученые мужи из букинистического угла по одному проскользнули вслед за книгопродавцем на улицу Тентельри и оттуда стали наблюдать за возбужденной толпой, наводнившей площадь св. Экзюпера.

Пайо узнал среди зевак председателя суда Кассиньоля. Старик совершал свою ежедневную прогулку. Ходил он мелкими шажками, видел плохо и теперь, попав в возбужденную толпу, никак не мог оттуда выбраться, но держался он еще прямо и твердо и гордо носил свою высохшую седую голову.

Увидев его, Пайо побежал ему навстречу, снял свою бархатную ермолку и, подав ему руку, пригласил зайти посидеть в лавку.

— Ну, разве можно, господин Кассиньоля, быть таким неосторожным! Попали в самую давку. Настоящий бунт.

При слове «бунт» перед стариком встал как бы призрак революционного века, трех четвертей которого он был свидетелем. Ему шел восемьдесят седьмой год, и уже двадцать пять лет он пребывал в звании почетного советника.

Поддерживаемый под руку книгопродавцем Пайо, он переступил через порог лавки и сел на соломенный стул, среди почтительно расступившихся

ученых мужей. Тросточка с серебряным набалдашником, которую он зажал между худыми коленями, дрожала у него в руке. Он сидел, не сгибаясь, прямой, как спинка его стула. Он снял свои черепаховые очки, протер их и снова не спеша надел. Память на лица он потерял и, хотя был туг на ухо, узнавал теперь людей по голосу.

Он осведомился в немногих словах о причине скопища народа на площади и не дослушал ответа г-на де Термондра. Его крепкий, одеревенелый, словно мумифицированный мозг не воспринимал уже новых впечатлений, зато старые мысли и чувства глубоко врезались в него.



Господин де Термондр, Мазюр и Бержере стояли вокруг. Они не знали истории его жизни, затерянной в незапамятном прошлом. Знали только, что он был учеником, другом, товарищем Лакордера [{66}](#) и Монталамбера [{67}](#), что в границах, дозволенных должностью, оказывал сопротивление империи, что в свое время снес обиду от Луи Вейо [{68}](#) и что теперь каждое воскресенье ходит к мессе с толстым молитвенником подмышкой. Для них, как и для всего города, его окружал ореол давней неподкупной честности и славы человека, всю жизнь ратававшего за свободу. Но никто не мог бы сказать, в чем состояли его свободолюбивые убеждения, ибо никто не прочел изданной г-ном Кассиньодем в 1852 году брошюры о римских делах, где было напечатано следующее: «Свободу дает только вера во

Христа и в нравственное достоинство человека». Рассказывали, что, сохранив до преклонного возраста ясность ума, он приводил в порядок свою корреспонденцию и трудился над книгой об отношениях между церковью и государством. До сих пор еще он был словоохотлив.

Когда в разговоре, которого он почти не слушал, кто-то упомянул фамилию г-на Гаррана, прокурора республики, он сказал, глядя на набалдашник своей трости, как на единственного уцелевшего свидетеля минувших дней:

— В тысяча восемьсот тридцать восьмом году я знавал в Лионе одного королевского прокурора, который высоко ставил свое звание. Он утверждал, что один из атрибутов прокурорского надзора — непогрешимость и что королевский прокурор не может ошибаться, так же как и король. Именовался он господином де Клавелем, и после него остались ценные работы по уголовному судопроизводству.

И старик умолк, пребывая среди людей наедине со своими воспоминаниями.

Пайо с порога лавки смотрел на улицу.

— Вот господин Рокенкур выходит из дому.

Господин Кассиньоль, вспоминая прошлое, сказал:

— Я начал свою карьеру в суде. Я служил под началом господина де Клавеля, который непрестанно твердил: «Хорошенько усвойте следующее правило: интересы обвиняемого священны, интересы общества дважды священны, интересы правосудия трижды священны». В то время отвлеченные принципы имели больше влияния на умы, чем теперь.

— Справедливо изволили заметить,— подтвердил г-н де Термондр.

— В ручной тележке вывозят ночной столик, посуду и белье,— сказал Пайо,— верно, вещественные доказательства.

Господин де Термондр, не выдержав, пошел посмотреть, как нагружают тележку. Вдруг он воскликнул, нахмурившись:

— Чорт возьми!

И в ответ на вопросительный взгляд Пайо прибавил:

— Так, ничего!

Он был тонким знатоком и сразу заметил среди взятых следователем предметов старинный фарфоровый кувшин, о котором он решил справиться по окончании следствия у секретаря Сюркуфа, человека услужливого. Он часто прибегал к хитрости, составляя свои коллекции. «Ничего не поделаешь, времена тяжелые»...— оправдывался он сам перед собой.

— Двадцати двух лет я был назначен товарищем прокурора,— снова

повел речь г-н Кассиньоль.— У меня были тогда длинные кудри, розовое и безбородое лицо, и я выглядел совсем юным, что очень меня огорчало. Чтобы внушить окружающим уважение, я напускал на себя важность и был строг в обхождении. Я выполнял свои обязанности с должным усердием, за что и был награжден. Тридцати трех лет я уже был прокурором в Пюи.

— Весьма живописный город,— заметил Мазюр.

— По роду моей новой службы мне пришлось выступить обвинителем по одному делу, малоинтересному с точки зрения самого преступления и характера обвиняемого, но не лишенному значения, ибо оно могло кончиться смертным приговором. Некого довольно зажиточного фермера нашли убитым в его постели. Я опущу обстоятельства преступления, хотя они и запечатлелись у меня в памяти,— в них нет ничего особенного. Достаточно сказать, что с самого начала следствия подозрение пало на работника с этой фермы. Ему было лет тридцать, звали его Пудрай, Гиацинт Пудрай. На другой же день после убийства он исчез. Отыскался он в каком-то кабаке, где пропивал довольно крупные деньги. Веские улики указывали на него, как на виновника преступления. При нем была найдена сумма в шестьдесят франков, происхождения которой он не мог объяснить; на одежде обнаружили следы крови. В ночь убийства два свидетеля видели его около фермы. Правда, другой свидетель доказывал его алиби, но этот свидетель славился своим безнравственным поведением.

Следствие вел чрезвычайно умелый следователь. Обвинительный акт был составлен с большим искусством. Но Пудрай не признавался. На суде, в продолжение всех прений, он отрицал все начисто, и ничем нельзя было его заставить отказаться от такого систематического заперательства. Я приготовил обвинительную речь со всем тщанием, на какое был способен, и с добросовестностью молодого человека, желающего быть на высоте своего призвания. Я произнес ее с пылом, свойственным моему возрасту. Алиби, устанавливаемое женщиной по фамилии Корто, которая утверждала, будто Пудрай был у нее в Пюи в ночь преступления, очень меня смущало. Я постарался его опровергнуть. Я пригрозил этой женщине наказанием за лжесвидетельство. Один из моих аргументов особенно поразил присяжных. Я им напомнил, что, по словам соседей, дворовые собаки не лаяли на убийцу. Значит, они его знали. Значит, это был свой. Это был работник, это был Пудрай. Словом, я требовал его казни. И я добился своего. Пудрай был приговорен к смерти большинством голосов. По прочтении приговора он громко крикнул: «Я не виновен!» Тогда мной овладело ужасное сомнение. Я подумал, что в конце концов это,— возможно, и правда, ведь у меня самого нет той уверенности, которую я

внушил присяжным. Мои сослуживцы, наставники, начальники, все вплоть до защитника осужденного, поздравляли меня с блестящим успехом, наперебой хвалили мое молодое и грозное красноречие. Похвалы были мне приятны. Вам, господа, известна тонкая мысль Вовенарга {69} о первых лучах славы. И все же у меня в ушах звучали слова обвиняемого: «Я не виновен!»

Я не мог отделаться от сомнений и то и дело повторял сам себе свои аргументы.

Просьба о помиловании была отклонена, а между тем сомнения мои усилились. В то время помилования и отмены смертных приговоров бывали чрезвычайно редко, не то что теперь. Пудрай напрасно ходатайствовал о смягчении наказания. Утром того дня, который был назначен для казни, когда эшафот был уже воздвигнут в Мартурэ, я отправился в тюрьму, велел впустить меня в камеру осужденного и, оставшись с ним наедине, сказал: «Ничто не в силах изменить вашей участи. Если у вас сохранились добрые чувства, то ради спасения своей души и ради моего спокойствия, скажите мне, Пудрай,— виновны ли вы в преступлении, за которое вас осудили?» Мгновение он смотрел на меня молча. Как сейчас вижу его плоское лицо и большой крепко сжатый рот. Я пережил ужасную минуту. Наконец он медленно опустил голову и тихо, но внятно проговорил: «Теперь, когда ждать больше нечего, я могу сказать, что это мое дело. И повозился я порядочно, старик-то был силен, да еще и злющий вдобавок». Услыхав это последнее признание, я вздохнул с облегчением.

Господин Кассиньоль умолк и долго не сводил своих угасших, тусклых глаз с набалдашника трости, потом изрек:

— За всю мою долгую судебную практику мне ни разу не пришлось столкнуться с судебной ошибкой.

— Такое утверждение радует,— сказал г-н де Термондр.

— А меня приводит в ужас,— пробормотал г-н Бержере.

XVI

В этом году, как и в прежние годы, г-н префект Вормс-Клавлен отправился на охоту в Валькомб, к г-ну Делиону, горнозаводчику и члену департаментского совета, у которого была лучшая охота во всей окрестности. Префекту очень нравилось в Валькомбе; ему льстило, что он встречается там с местной знатью, а именно с Громансами и Термондрами, и он с искренним удовольствием стрелял фазанов. Довольный и сияющий, разгуливал он по лесным просекам. Стреляя, он отставлял ногу, поднимал плечи, наклонял голову, прищуривался и хмурил брови, подражая своим первым товарищам по охоте, букмекерам и держателям кафе, жителям Буа-Коломб. Громко, с нескрываемым удовольствием возвещал он о каждой убитой им птице; иногда присваивал себе подстреленную соседом, что, конечно, раздражало окружающих, но он обезоруживал всех неизменно хорошим настроением и полным непониманием того, что он мог кого-нибудь рассердить. Во всех его манерах приятно сочетались достоинство государственного чиновника и простота веселого сотрапезника. Титулы в его устах звучали, как дружеские прозвища, и так как ему, как, впрочем, и всему департаменту, было известно, что жена г-на де Громанса часто наставляет супругу рога, он при каждой встрече без всякой видимой причины сочувственно похлопывал по плечу этого чопорного господина. Он полагал, что в валькомбском обществе ему рады, и, пожалуй, не совсем в этом ошибался. Поскольку он не попадал в присутствующих дробью и не говорил им в лицо дерзостей, его находили достаточно ловким и даже вежливым, несмотря на его невоспитанность и обжорство.

В этом году с ним были особенно любезны в мире капиталистов. Стало известно, что он противник введения подоходного налога, который в своей компании он остроумно назвал мерой инквизиционной. В Валькомбе признательное общество всячески ему льстило, а г-жа Делион, смягчив для него выражение своих синих стальных глаз и высокого чела, обрамленного седующими волосами, ласково ему улыбалась.

Выйдя из отведенной ему комнаты, где он переодевался к обеду, он увидел, как в неосвещенном коридоре мелькнула, шелестя платьем и звеня драгоценностями, гибкая фигура г-жи де Громанс, обнаженные плечи которой в сумерках казались еще более обнаженными. Он бросился за ней, догнал, обнял за талию и поцеловал в шею. Она поспешила высвободиться из его объятий, а он сказал тоном упрека:

— А мне почему нельзя, графиня?

Тогда она дала ему пощечину, что его весьма озадачило.

На площадке нижнего этажа он встретил Ноэми, выглядевшую настоящей дамой в своем черном атласном платье, покрытом черным же тюлем; она медленно натягивала длинные перчатки. Он ласково подмигнул ей. Он был хорошим мужем, очень уважал свою жену и даже несколько восхищался ею. И она того заслуживала. Нужно было обладать необыкновенным умением, чтобы понравиться антисемитскому валькомбскому обществу. А к ней там относились неплохо. Она даже завоевала себе симпатии. И что всего удивительнее — она не казалась там чужой.

Сидя в холодном зале большого помещичьего дома, она делала удивленное лицо и держалась чрезвычайно скромно; это заставляло сомневаться в ее уме, но создавало впечатление, что она честная, кроткая и добрая женщина. В обществе г-жи Делион и прочих дам она восторгалась, соглашалась и молчала. Если же ей выказывал внимание остроумный и светский человек, она напускала на себя еще бóльшую скромность и застенчивость и, робко потупив взор, вдруг бросала игривое замечание, которое было особенно пикантно своей неожиданностью и воспринималось как выражение особой симпатии, так как исходило из столь сдержанных уст и из столь скрытной души. Она покоряла сердца старых волокит. Не кокетничая, не меняя позы, не прибегая к игре веером, только чуть прищулив глаза и сделав быструю гримаску губами, она внушала им лестные для их самолюбия мысли. Она увлекла самого г-на Морисе, великого знатока женщин, который так отзывался о ней:

— Она всегда была дурнушкой, не похорошела и теперь, но это — женщина!

Господин Вормс-Клавлен сидел за столом между г-жой Делион и г-жой Лапра-Теле, супругой сенатора. Г-жа Лапра-Теле была миниатюрной бледной особой; казалось, будто смотришь на нее сквозь дымку, такие у нее были неопределенные черты. В девушках она вся была пропитана благочестием, как елеем. Выйдя замуж за ловкого человека, женившегося на ней ради денег, она изнуряла плоть в умиленной набожности, а супруг меж тем обдeldывал дела, спекулируя на своем антиклерикализме и грея руки на передаче церковного имущества светским властям. К церкви она была очень усердна. Когда в сенате было возбуждено ходатайство о разрешении привлечь к судебной ответственности Лапра-Теле и нескольких других сенаторов, г-жа Лапра-Теле, как преданная супруга, поставила две свечи св. Антонию, раскрашенная статуя которого находилась в церкви

св. Экзюпера, моля этого великого подвижника даровать мужу прекращение дела за отсутствием улик. Дело именно так и окончилось. Г-н Лапра-Теле, ученик Гамбетты {70}, имел в руках кое-какие бумажки, фотографический снимок с которых он послал в нужный момент министру юстиции. В порыве благодарности г-жа Лапра-Теле поместила, в качестве *ex voto*, на стене часовни мраморную доску со следующей надписью, сочиненной его преподобием отцом Лапрюном: «Святому Антонию в благодарность за нечаянную радость от благочестивой супруги». С тех пор г-н Лапра-Теле пошел в гору. Он дал серьезные доказательства своей преданности консерваторам, которые рассчитывали на его великие финансовые способности для борьбы против социализма. Его политическое положение понемногу восстанавливалось, ему только было поставлено условие не форсировать событий и не добиваться личной власти. И г-жа Лапра-Теле своими восковыми пальцами вышивала пелену на алтарь.

— Ну-с, сударыня,— обратился к ней после супа префект,— как дела благотворительности? Преуспевают? Знаете, после генеральши Картье де Шальмо вы возглавляете наибольшее число богоугодных заведений в департаменте.

Она ничего не ответила. Он вспомнил, что она туга на ухо, и повернулся к г-же Делион.

— Сударыня, расскажите-ка, что это за благотворительные учреждения в память святого Антония. Меня навела на эту мысль наша милая госпожа Лапра-Теле. Жена уверяет, что это новая форма почитания святых пользуется громадным успехом у наших дам.

— Госпожа Вормс-Клавлен права, дорогой господин префект. Мы все — почитательницы святого Антония.

В это время раздался голос Морисе, который, отвечая на слова, затерявшиеся в шуме разговора, говорил г-ну Делиону:

— Вы льстите мне, дорогой друг. Ну как можно сравнивать охоту в Пюи-дю-Руа, где со времен Людовика Четырнадцатого все в полном запустении, с охотой в Валькомбе! В Пюи-дю-Руа мало дичи. Правда, браконьер, по фамилии Ривуар, редкий мастер своего дела, не забывает своими ночными посещениями Пюи-дю-Руа и настрелял там порядочно фазанов. И знаете, из какой рухляди он их бьет? Прямо музейный экспонат. Как-то он разрешил мне хорошенько рассмотреть это оружие, за что я ему очень благодарен. Представьте себе такой...

— Меня уверяли, сударыня,— сказал префект,— будто почитательницы святого Антония посылают ему просьбы в запечатанном

конверте и платят лишь по получении желаемого.

— Не смейтесь,— ответила г-жа Делион,— святой Антоний оказывает множество милостей.

— Это,— продолжал г-н Морисе,— ствол старой солдатской винтовки, обрезанный и укрепленный на особого рода шарнире таким образом, чтобы он мог наклоняться...

— Мне казалось,— возразил префект,— что специальность святого Антония — отыскивать потерянные вещи.

— Вот потому-то к нему и возносят столько просьб,— ответила г-жа Делион. И прибавила со вздохом: — Кто здесь на земле не потерял какого-либо драгоценного блага? Душевный покой, чистую совесть, дружбу, сложившуюся с детства, или... привязанность мужа? Тогда и обращаются к святому Антонию.

— Или к его четвероногому сподвижнику,— прибавил префект, повеселевший от вина горнозаводчика и спутавший по неведению святого Антония Падуанского со святым Антонием Отшельником.

— Скажите,— спросил г-н де Термондр,— ведь Ривуар, кажется, носит звание браконьера префектуры?

— Вы ошибаетесь, господин де Термондр,— возразил префект.— На него возложены более высокие обязанности епархиального браконьера. Он поставляет дичь монсиньору.

— Он не отказывается также обслуживать и суд,— сказал председатель суда г-н Пелу.

Господин Делион и генеральша Картье де Шальмо разговаривали вполголоса.

— Моему сыну Гюставу, сударыня, в этом году предстоит отбывать воинскую повинность. Мне очень бы хотелось, чтобы он попал под начало к генералу Картье де Шальмо.

— Не желайте этого. Муж — враг всяческих поблажек и скуп на отпуска: он считает, что молодые люди из хороших семейств должны подавать пример усердной службы. Всем своим полковникам он внушил те же правила.

— ...и этот ствол,— продолжал г-н Морисе,— не соответствует ни одному из установленных калибров, так что Ривуару приходится пользоваться неподходящими по размеру гильзами. Вы легко поймете...

Префект развивал перед г-жой Делион свои соображения, которые должны были окончательно примирить ее с существующим строем, и закончил их следующей возвышенной мыслью:

— Теперь, когда царь собирается посетить Францию, необходимо,

чтобы республика объединилась с высшими классами, дабы установить чрез них связь с нашей великой союзницей Россией.

Тем временем Ноэми со спокойствием Мадонны принимала ухаживания председателя суда Пелу, пожимавшего ей под столом ножку.

А молодой Гюстав Делион тихонько шептал г-же де Громанс:

— Надеюсь, сегодня вы не поставите меня в такое глупое положение, как тогда, когда вы кокетничали с этим молодящимся старичком Морисе и мне ничего больше не оставалось, как портить для собственного развлечения часы у вас в желтой гостиной.

— Что за превосходная женщина госпожа Лапра-Теле! — воскликнула г-жа Делион во внезапном порыве дружбы.

— Превосходная,— согласился префект, запихивая в рот четверть груши.— Жаль, что она глуха, как тетерев. Муж у нее также превосходный человек и очень умен. Я с удовольствием замечая, что он вновь входит в силу. Он пережил трудное время. Враги республики хотели его скомпрометировать, чтобы подорвать доверие к существующему строю. Он стал жертвой происков, целью которых было изъять из парламента видных представителей делового мира. Подобное изъятие понизило бы уровень народного представительства и было бы печально во всех отношениях.

На минуту он задумался, затем сказал с грустью:

— Впрочем, скандалов больше не будет; дел больше не делается. Это одно из наиболее досадных последствий той кампании клеветы, которая велась с такой неслыханной наглостью.

— Очень может быть! — прошептала г-жа Делион вдохновенно и задумчиво. И вдруг в сердечном порыве она воскликнула: — Господин префект, верните нам монахов, откройте монахиням двери госпиталей, а богу — двери школы, откуда вы его изгнали! Не препятствуйте нам воспитывать наших сыновей в духе истинной религии, и... мы с вами быстро придем к согласию.

Услыхав эти слова, г-н Вормс-Клавлен поднял руки, вместе с ножом, к которому прилип кусочек сыру, и воскликнул в простоте душевной:

— Господи боже мой! Да ведь улицы в нашем городе черным-черны от кюре, да и монахов у нас сколько угодно. А если ваш Гюстав, вместо того чтобы ходить в церковь, бегает за девицами, так я тут ни при чем.

А г-н Морисе под шум голосов, взрывы смеха и стук серебра по фарфору заканчивал описание чудесного ружья.

Господин префект Вормс-Клавлен, торопившийся покурить, первым прошел в бильярдную. Вскоре к нему присоединился председатель суда Пелу, которому он предложил сигару:

— Возьмите, пожалуйста. Сигара прекрасная.

И на благодарность г-на Пелу он ответил, указывая на ящик гаванских сигар:

— Не благодарите, это сигары хозяина дома.

Подобные шутки были для него обычны.

Наконец явился г-н Делион, вместе с большинством гостей, которые оказались более галантными и еще несколько минут поболтали с дамами. Он снисходительно слушал г-на де Громанса, который доказывал ему, как важно для охотника уметь точно определить расстояние.

— Например,— говорил он,— на неровном месте вам представляется, будто заяц еще сравнительно далеко, а на ровном кажется, что можно в него попасть, когда он более чем за пятьдесят метров от вас. Этим объясняется...

— Ну-ка,— предложил префект, беря кий,— ну-ка, Пелу, сыграем разок?

Префект Вормс-Клавлен хорошо играл на бильярде, но председатель суда Пелу мог дать ему несколько очков вперед. Когда-то он был незначительным стряпчим в Нормандии, но после одной неудачной земельной сделки ему пришлось продать контору; он был назначен судьей в ту эпоху, когда республика производила чистку судебного ведомства. Его посылали в разные концы Франции по судам, где почти не осталось знатоков права и где он был полезен как специалист по части крючкотворства, а благодаря связям в министерстве он получал повышения по службе. Но повсюду за ним следовал слух о его темном прошлом, и уважением в обществе он не пользовался. Он умел с завидным благоразумием сносить долголетнее презрение, с невозмутимым спокойствием пренебрегать обидами. Г-н Лерон, товарищ прокурора в отставке, а ныне адвокат суда в городе ***, говорил: «Это человек умный, он понимает, что расстояние от его кресла до скамьи подсудимых не так уж велико». Однако общественное уважение, которого г-н Пелу не добивался, да и не мог бы добиться, было ему неожиданно возвращено. Уже в течение двух лет весь судебный мир считал председателя суда Пелу безупречным чиновником. Все были в восхищении от его мужества: в то время как заседатели побледнели от страха, он спокойно, с улыбкой, приговорил к пяти годам тюремного заключения трех анархистов, обвиняемых в распространении в казармах воззвания, призывавшего ко всеобщему братству народов.

— Двенадцать и четыре,— объявил председатель Пелу.

Он долгое время практиковался на бильярде в мирном кабачке в

главном городке сельского кантона и играл как профессионал — осторожно и с расчетом. Он собирал свои шары в пирамидки и вел непрерывную игру карамболом. Префект Вормс-Клавлен играл в более широком, величественном и смелом стиле игроков артистических кафе Монмартра и Клиши. Он сваливал на бильярд неудачу своих излишне азартных ударов и жаловался, что борта слишком тверды.

— В Тюильер, у моего кузена Жака,— сказал г-н де Термондр,— в сводчатом, очень низком зале с выбеленными стенами стоит бильярд времен Людовика Пятнадцатого, там еще можно разобрать следующую надпись: «Милостивые государи, покорнейше просим не мелить кии о стену». Просьба эта осталась втуне, ибо своды испещрены круглыми дырочками, происхождение которых и объяснено надписью.

Несколько человек сразу стали расспрашивать председателя суда Пелу о подробностях преступления в «доме королевы Маргариты». Убийство вдовы Усье, взволновавшее всю округу, продолжало возбуждать любопытство. Всем было известно, что тяжкие подозрения падали на приказчика из мясной лавки, девятнадцатилетнего Лекера, который два раза в неделю приносил старухе мясо. Знали также, что следственные власти арестовали как соучастников двух учеников из обойной мастерской, подростков лет четырнадцати — шестнадцати; говорили еще, будто обстоятельства, при которых было совершено преступление, таковы, что рассказывать о них неприлично.

В ответ на расспросы именно по этому поводу председатель суда приподнял над бильярдом свою круглую рыжую голову, подмигнул и сказал:

— Следствие закончено. Обстоятельства убийства выяснены полностью. Не думаю, что может быть хоть какое-либо сомнение относительно гнусностей, которые предшествовали убийству и облегчили его совершение.— Он взял рюмку, глотнул арманьяку и, прищелкнув языком, сказал: — Эх, шельмец! Настоящий бархат!

И так как к нему со всех сторон приставали с расспросами, он вполголоса сообщил кое-какие подробности, вызвавшие шепот удивления и взрыв негодования.

— Неужели это возможно? — сказал кто-то.— Восьмидесятилетняя старуха!

— Случай не единственный,— возразил председатель суда Пелу.— Могу сослаться на свой судейский опыт. А парнишки с окраин осведомлены по этой части лучше нашего. Преступление в «доме королевы Маргариты» относится к известному, определенному виду, можно

сказать — к классическому типу. Я нюхом почувствовал тут старческий разврат и сразу понял, что Рокенкур, которому поручено было следствие, пошел по ложному пути. Он, конечно, тут же распорядился арестовать всех бродяг и босяков на несколько миль кругом. Все казались ему подозрительными, а что его окончательно сбilo с толку, так это признание одного из них, Сиэрина, по прозванию Подорожник, неисправимого бродяги.

— Как так?

— Ему надоело сидеть под арестом. За признание ему пообещали трубку табаку. Он признался. Рассказал все, что от него требовали. Этот Сиэрин, которого тридцать семь раз судили за бродяжничество, и мухи не убьет. Он ни разу ничего не украл. Он дурачок, существо безобидное. Когда совершалось преступление, он был на холме Дюрок, жандармы видели, как он мастерил там фонтаны из соломинок и пробочные лодочки для школьников.

Председатель суда снова принялся за игру.

— Девяносто и сорок... Меж тем Лекер рассказывал всем девицам квартала Карро, что это его рук дело, а содержательницы публичных домов передали полицейскому комиссару серьги, цепочку и кольца вдовы Усье, которыми приказчик из мясной оделил девиц. Лекер, как это часто случается с убийцами, сам отдался в руки правосудия. Но взбешенный Рокенкур оставил Сиэрина, именуемого Подорожник, под арестом. Он и сейчас сидит... Девяносто девять... сто!

— Нечего сказать, красавица! — заметил префект Вормс-Клавлен.

— Значит,— пробормотал г-н Делион,— у этой восьмидесятитрехлетней старухи были еще... просто невероятно!..

Но доктор Форнероль, присоединившись к мнению председателя суда Пелу, подтвердил, что это не столь уж редкий случай, как кажется, и привел физиологическое объяснение, выслушанное с большим интересом. Затем он перечислил различные случаи извращения и заключил такими словами:

— Если бы хромым бес ^{71} поднял нас на воздух и приоткрыл крыши домов, нашим взорам представилось бы страшное зрелище, и мы с ужасом обнаружили бы среди своих сограждан множество маниаков, развратников и безумцев, как мужчин, так и женщин.

— Ну, стоит ли так во все вникать? — сказал префект Вормс-Клавлен. — Все эти люди, взятые в отдельности, быть может, действительно таковы, как вы говорите; но в целом они образуют превосходный ансамбль моих подопечных и население великолепного департаментского центра.

Меж тем сенатор Лапра-Теле, взгромоздясь на скамью,

возвышавшуюся над бильярдом, поглаживал свою длинную седую бороду. В нем было величие полноводной реки.

— Что касается меня, я верю только в добро,— сказал он.— Куда бы я ни кинул взгляд, всюду я нахожу добродетель и честность. Я могу подтвердить множеством примеров, что со времени революции французские женщины, особенно среднего класса, имеют все основания считаться образцом добродетели.

— Я не смотрю так оптимистично,— возразил г-н де Термондр,— но, конечно, я не подозревал, что в «доме королевы Маргариты», за облупившимися стенами и занавешенными паутиной окнами кроются такие постыдные тайны. Я не раз навещал вдову Усье. Она казалась мне недоверчивой и скаредной старухой, чудаковатой, но в общем довольно обыкновенной. Впрочем, как говорили во времена королевы Маргариты:

Она свою сгубила плоть,
Да примет душу ее господь!

Больше она не будет позорить своим развратом герба славного Филиппа Трикульяра.

При этом имени на повеселевших лицах заиграли радостные улыбки. Герб, украшенный эмблемами, свидетельствующими о тройной доблести и силе предка здешних горожан, которая равняла его с великим бергамским кондотьером {72}, был тайной радостью и предметом гордости местного населения. Жители города *** любили своего могучего предка, современника короля из «Ста новых новелл» {73}, своего древнего бургомистра Филиппа Трикульяра, по правде говоря, известного им лишь своим природным физическим превосходством.

В дальнейшем разговоре доктор Форнероль сказал, что зарегистрировано несколько случаев подобной аномалии и что некоторые писатели утверждают, будто нередко это почтенное уродство передается по наследству и укореняется в семье. К несчастью, род славного Филиппа прекратился уже более двухсот лет тому назад.

По этому поводу г-н де Термондр, бывший председателем Общества археологии, рассказал следующую историю, действительно имевшую место.

— Наш департаментский ученый архивариус, господин Мазюр, недавно обнаружил в префектуре, на чердаке, бумаги, относящиеся к процессу о прелюбодеянии, возбужденному в ту самую пору, когда

преуспевал Филипп Трикульяр,— в конце пятнадцатого века,— Жеаном Табуре против своей жены Сидуаны Клош, по тому случаю, что упомянутая Сидуана родила трех близнецов, из которых Жеан Табуре признал своими лишь двух, считая, что третий был добавлен кем-то другим, ибо он, по самому своему естеству, был неспособен зачать более чем двух одновременно. И он приводил довод, основанный на заблуждении, присущем в то время и почтенным матронам, и хирургам-цырюльникам, и аптекарям, которые в один голос утверждали, будто нормальный человек не может дать сразу материала более чем на двойню, и потому все, что сверх того, отец вправе не признавать своим. На этом основании бедная Сидуана была уличена судьей в разврате и за то посажена в голом виде на осла лицом к хвосту и так провезена через город в Эве, прямо на болото, в которое ее трижды погрузили. Ей не пришлось бы так пострадать, будь ее жестокий муж столь же щедро одарен природой, как славный Филипп Трикульяр.

XVII

Подойдя к калитке дома, где была лавка Рондоно, префект посмотрел направо и налево, не следит ли кто за ним. Он узнал, что в городе уже поговаривали, будто он ходит туда на любовные свидания и будто видели, как г-жа Лакарель входила вслед за ним в этот дом, прозванный «домом двух сатиров». Эти слухи портили ему настроение. Был у него и другой повод к недовольству. «Либерал», до сих пор его не трогавший, вдруг ополчился на него по поводу департаментского бюджета, консервативная газета обвиняла его в том, что он прибегнул к виременту ^{74} для сокрытия расходов на предвыборную пропаганду. Префект Вормс-Клавлен отличался безукоризненной честностью. Деньги внушали ему одновременно и уважение и любовь. Перед «ценностями» он испытывал такое же чувство священного трепета, как собака перед луной. Богатство он чтит, как святыню.

Свой бюджет он свел очень честно. И за исключением некоторых неправильностей, вошедших в правило вследствие того, что во всей республике было плохо поставлено управление, там не было ничего предосудительного. Г-н Вормс-Клавлен это знал. Он чувствовал себя безупречным. Но газетная полемика выводила его из терпения. Он до глубины души огорчился, наблюдая злопамятство партий и раздраженность противников, которых, как ему казалось, он обезоружил. Он страдал оттого, что после стольких жертв не завоевал уважения консерваторов, которое в глубине души ценил куда выше, чем дружбу республиканцев. Надо было подсказать «Маяку» несколько искусных и решительных ответных статей, начать энергичную и, быть может, продолжительную полемику. При его глубокой умственной лени эта мысль смущала его, кроме того она нарушала мудрое правило избегать всякого действия как источника бед.

Итак, он был в очень дурном настроении. И потому, усевшись в старинном кожаном кресле, сухо спросил Рондоно-младшего, здесь ли г-н Гитрель. Г-н Гитрель еще не приходил, и г-н Вормс-Клавлен порывисто схватил с конторки ювелира газету и попытался читать, куря сигару. Но ни политика, ни табачный дым не рассеяли мрачных мыслей, удручавших его. Он читал глазами, а сам думал о нападках «Либерала»: «„Виремент!“ Да во всем городе не найдется и пятидесяти человек, которые понимают, что такое виремент. Так вот и вижу всех наших городских дураков,— качая головой, они с важностью повторяют слова газеты: „Мы с прискорбием

замечаем, что господин префект не отказался от отвратительной и уже осужденной практики виремента“». Он думал. Пепел сигары обильно сыпался ему на жилет. Он думал: «За что нападает на меня „Либерал“? Я провел его кандидата. В моем департаменте на выборных должностях „присоединившихся“ больше, чем где-либо». Он перевернул страницу газеты. Он думал: «Я не скрыл дефицита. Отпущенные при утверждении бюджета суммы израсходованы так, как и предполагалось. Эти люди не разбираются в бюджете. Они недобросовестны». Он пожал плечами и мрачно, не замечая пепла, усыпавшего ему грудь и колени, погрузился в чтение газеты.

Взгляд его упал на следующие строки:

«Нам пишут, что во время пожара, вспыхнувшего в предместье Тобольска, сгорело шестьдесят деревянных домов. В результате бедствия больше ста семейств остались без хлеба и крова».

Прочтя это известие, г-н префект Вормс-Клавлен испустил громкий крик, нечто вроде торжествующего рева, и, стукнув ногой в конторку ювелира, спросил:

— Скажите, Рондоно! Тобольск — это русский город? Не так ли?

Рондоно, подняв свою лысую голову и простодушно взглянув на него, ответил, что Тобольск действительно — город в Азиатской России.

— Прекрасно! — воскликнул префект Вормс-Клавлен.— Мы устроим вечер в пользу тобольских погорельцев.

И он процедил сквозь зубы:

— Я заткну им рот русским праздником! На полтора месяца угомонятся и позабудут о «вирементах».

В это время в магазин вошел аббат Гитрель, держа шляпу подмышкой и беспокойно поглядывая по сторонам.

— Знаете, господин аббат,— обратился к нему префект,— идя навстречу общей просьбе, я разрешаю вечер в пользу тобольских погорельцев. Концерт, парадный спектакль, благотворительный базар и все такое. Надеюсь, что церковь присоединится к этому благотворительному празднеству.

— Церковь, господин префект, щедрою рукою дает утешение скорбящим, прибегающим к ней,— ответил аббат Гитрель.— И, конечно, ее молитвы...

— Кстати, дорогой аббат, ваши дела очень плохи. Я только что из Парижа. Я повидался со своими друзьями из министерства культов. У меня плохие новости. Во-первых, вас восемнадцать...

— Восемнадцать?

— Восемнадцать кандидатов на место епископа туркуэнского. Прежде всего аббат Оливе — кюре одного из самых богатых парижских приходов, кандидат канцелярии президента. Затем аббат Лаверден, викарий епископа гренобльского. Его явно поддерживает нунций.

— Я не имею чести знать господина Лавердена, но не думаю, что он кандидат нунциатуры. Возможно, что у нунция есть свой избранник. Но этот избранник, конечно, никому не известен. Нунциатура не ходатайствует за тех, кому покровительствует. Она ждет, когда их ей предложат.

— Так, так, господин аббат, видно, там, в нунциатуре, народ умный.

— Господин префект, не все там люди выдающегося ума сами по себе, но за них традиция и время, и их поведение подчинено законам, слагавшимся веками. Это — сила, господин префект, большая сила.

— Верно, чорт возьми! Так мы говорили, что и у президента и у нунция есть свои кандидаты. И у вашего собственного архиепископа тоже есть кандидат. Сначала говорили, и я сам так же думал, что это вы... Мы ошибались, дорогой мой. Ручаюсь, что вы не угадаете избранника монсиньора.

— Не ручайтесь, господин префект, не ручайтесь. Держу пари, что кандидат монсиньора — его викарий, господин де Гуле.

— Откуда вы знаете? Я этого не знал.

— Вам должно быть известно, господин префект, что монсиньор Шарло опасается, как бы ему не назначили коадьютора, и только эта боязнь омрачает его величавую и спокойную старость. Он боится, как бы господин де Гуле не навлек, если можно так выразиться, на себя это назначение как благодаря своим личным достоинствам, так и благодаря знанию епархиальных дел. И его высокопреосвященство желает и даже жаждет как можно скорее расстаться со своим викарием, тем более, что господин де Гуле по происхождению принадлежит к дворянству нашего округа и потому сияет светом, который слишком раздражает монсиньора Шарло. Почему бы, напротив, монсиньору не радоваться, что сам он — сын честного труженика, который, подобно святому Павлу, ткал ковры?

— Вы знаете, господин Гитрель, что поговаривают также и о господине Лантене. Ему покровительствует генеральша Картье де Шальмо. А генерал Картье де Шальмо, — хотя и клерикал и реакционер, — пользуется в Париже большим уважением. Его считают одним из самых способных и умных дивизионных генералов. Даже самые убеждения его в настоящее время ему не во вред, а на пользу. При существующем концентрационном кабинете [{75}](#) реакционеры добиваются всего, чего хотят. В них нуждаются: от них зависит, какая чаша весов перетянет.

Притом союз с Россией и дружба с царем способствовали тому, что аристократия и армия снова входят в силу. Мы прививаем республике известную тонкость ума и манер. Кроме того замечается общее стремление к прочно установившейся власти. Однако я не думаю, что у господина Лантеня большие шансы. Прежде всего, я дал о нем самый нелестный отзыв. Я представил его в высших сферах воинствующим монархистом. Я отметил его нетерпимость, его дурной характер. А вас, дорогой господин Гитрель, я изобразил в самом приятном свете. Я отметил вашу умеренность, гибкость, ваше благоразумие, ваше уважение к республиканским учреждениям.

— Я очень благодарен за вашу доброту, господин префект. А что вам ответили?

— Вам хочется знать? Ну, так вот что мне ответили: «Знаем мы их, ваших кандидатов вроде господина Гитреля. Стоит им получить назначение, и они окажутся хуже всех. Они особенно рьяно выступают против нас. Это и понятно. Им нужно загладить вину перед своей партией».

— Неужели, господин префект, так говорят в высших сферах?

— Ну, конечно. И мой собеседник сказал еще: «Я против тех кандидатов в епископы, которые слишком любят наши учреждения. Будь моя воля, выбирали бы не их. Очень хорошо, что в гражданском и политическом мире предпочитают чиновников наиболее приверженных и преданных режиму. Но священников, преданных республике, нет. А раз так, — предусмотрительнее брать наиболее честных».

И префект, бросив прямо на пол изжеванный окурок сигары, сказал в заключение:

— Как видите, дорогой Гитрель, ваши дела плохи.

Господин Гитрель пробормотал:

— Я не вижу, господин префект, я не понимаю, почему эти слова могли произвести на вас впечатление... неудачи. Я черпаю в них, напротив... надежду.

Префект закурил новую сигару и сказал смеясь:

— Кто знает, может быть, в министерстве и правы? Но будьте покойны, дорогой аббат, я вас не оставлю. Посмотрим, кто за нас?

Он вытянул левую руку, чтобы сосчитать по пальцам.

И они вдвоем стали прикидывать.

Насчитали одного сенатора из их департамента, который начинал выпутываться из затруднений, созданных последними скандалами, одного генерала в отставке, политика, публициста и финансиста, экбатанского епископа, довольно известного в художественном мире, и Теофиля Майера,

друга министров.

— Но, дорогой Гитрель, за вас один сброд,— воскликнул префект.

Аббат Гитрель переносил подобные выходки, но не любил их. Он посмотрел на префекта с огорченным видом и крепко сжал свои тонкие губы. Г-н Вормс-Клавен, по натуре человек не злой, пожалел о вырвавшихся у него словах и попробовал утешить аббата:

— Ну, ну! Не такие уж это плохие ходатаи. Да и жена моя за вас. А Ноэми хоть кого сделает епископом.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

В пределы апостольские (*лат.*).

2

Во-первых (*лат.*).

3

Во-вторых (*лат.*).

4

О, когда ты кончишься и когда прекратишься, всеобщая мирская суета?
(лат).

И слово стало плотью (*лат.*).

«Строматы» — «Ковры» (*греч.*).

«Пока терзали сосцы блаженной Агаты, она сказала степенно судье: «Нечестивый, жестокий и безжалостный элодей, не стыдно ли тебе отрезать у женщины то, что сосал ты у матери своей? Я же обладаю сосцами духовными, нетронутыми, кои и посвятила господу моему».

Недостойн я, господи... (*лат.*).

«Сад» (*лат.*).

«Сокровище» (*лат.*).

11

Вооруженной силой (*лат.*).

Приношение по обету (*лат.*).

13

Для содержания пицци (*лат.*).

comments

Комментарии

1

Пий IX — папа римский с 1846 по 1878 г., ярый сторонник привилегий церкви, принципов абсолютизма и феодализма.

Лев XIII — папа римский с 1878 по 1903 г. Прибегал к более гибкой тактике, чем его предшественник Пий IX, и стремился использовать в интересах церкви буржуазный парламентаризм; с этой целью выступил в 1892 г. с посланием (энцикликой), предписывающим французскому духовенству и всем католикам Франции признать республику.

Миньяр, Пьер (1610—1695) — французский художник; его портреты придворной знати отличаются внешней эффектностью и бессодержательностью.

4

Менье — кондитерская фирма.

Геру, Адольф (1810—1872) — французский публицист, автор «Политических и религиозно-философских этюдов».

Ренан, Эрнест (1823—1892) — французский писатель, историк религии и философ. Получила широкую известность и стяжала Ренану ненависть церковников его книга «Жизнь Иисуса Христа», где отвергается божественная природа Иисуса. В своих политических взглядах Ренан проделал эволюцию от республиканского либерализма к монархизму. Философия Ренана проникнута субъективизмом, носит явные черты буржуазного декаданса.

Перипатетики — наименование, полученное учениками и последователями Аристотеля, имевшими обыкновение, как и их учитель, обсуждать философские вопросы, прогуливаясь по аллеям, под сенью деревьев (греч. περίπατος — прогулка).

Тивериадское озеро — озеро в Галилее, не раз упоминаемое в евангельских легендах о жизни и чудесах Иисуса Христа (например, о хождении Христа по водам).

Климент Александрийский — христианский проповедник II—III вв. н. э. В своих «*Строматах*» ставит вопрос об отношении христианства к язычеству и философии, пытаясь примирить веру и знание.

Лакордер, Жан-Батист-Анри (1802—1861) — французский священник и церковный проповедник, в молодости адвокат; в начале 30-х годов был единомышленником Ламенне. После февральской революции 1848 г. призывал к примирению католической церкви с республикой. Был депутатом в Учредительном собрании 1848 г.

Гатри, Огюст (1805—1872) — французский богослов и моралист; был противником догмата непогрешимости папы, за что подвергался преследованиям церкви.

Тит Кальпурний Сицилийский — римский поэт I в. н. э.

Конгрегации — объединения католических монастырей, принадлежащих к одному и тому же монашескому ордену. Декретами 29 марта 1880 г. правительство Третьей республики предписало иезуитам закрыть их учебные заведения, а остальным конгрегациям предоставило трехмесячный срок для урегулирования вопроса об их существовании. В 1886 г. был издан закон, запрещавший учителям, связанным с конгрегациями, преподавать в государственных школах. Конгрегации отказались подчиниться правительству и были разогнаны, что не помешало им, впрочем, в скором времени возобновить свою «деятельность» с помощью разных уловок в обход закону.

«Присоединившиеся» — группа французских католиков-монархистов во главе с графом де Меном, заявившая о своем примирении с республиканским строем после издания в 1892 г. энциклики папы Льва XIII.

Кoadъютор — в католической иерархии — духовное лицо, состоящее при епископе или архиепископе в качестве его помощника.

Архиепископ Парижский Сибур 3 января 1857 г. был убит во время торжественного богослужения католическим священником, устранным от исполнения своих обязанностей.

Фома Бекет (1119—1170) — архиепископ Кентерберийский, боровшийся против английского короля Генриха II за светскую власть церкви; был убит на ступенях алтаря королевскими сторонниками.

Гелиодор — приближенный сирийского царя Селевка Филадельфа, пытавшийся, согласно легенде, похитить сокровища из иерусалимского храма.

Паруа, Сади (1837—1894) — французский политический деятель, умеренный республиканец, избранный в президенты республики в 1887 г. и занимавший пост президента до 1894 г., когда он был убит в Лионе анархистом Казерио.

Базен, Ашиль-Франсуа (1811—1888) — французский маршал, покрывший себя позором во время франко-прусской войны, когда ему была поручена защита крепости Мец; он изменнически сдался со своей армией в плен, так как намеревался использовать ее для восстановления Наполеона III на императорском престоле, заручившись поддержкой Бисмарка.

Канробер, Сертен (1809—1895) — французский маршал; в битве при Сен-Прива (18 августа 1870 г.) французскими войсками под его командованием была разбита наголову прусская королевская гвардия.

Правительство нравственного порядка — так именовало себя реакционное французское правительство 1873—1874 гг., стремившееся сплотить все правые политические группы для активной борьбы с республиканцами.

Раймунд Луллий (1235—1315) — испанский философ-мистик и богослов. Бержере и Лантень в «Современной истории» ошибочно приписывают ему мысли Аверроэса, испано-арабского медика и философа XII в., с которыми, напротив, Раймунд боролся.

Симон, Жюль (1814—1896) — французский философ-спиритуалист и политический деятель; после провозглашения во Франции республики в 1870 г. — член Национального собрания, возглавивший самых правых республиканцев, заигрывавших с клерикалами. Поставленный президентом Мак-Магоном во главе министерства, навлек на себя его немилость тем, что под давлением республиканского большинства палаты депутатов допустил принятие резолюции против притязаний папы римского на светскую власть. 16 мая 1877 г. Мак-Магон, выступив против Ж. Симона в печати, принудил его подать в отставку.

Греви, Жюль (1807—1891) — правый буржуазный республиканец, президент Французской республики с 1879 по 1887 г.; вынужден был подать в отставку после того, как было установлено, что его зять Вильсон, пользуясь своими родственными связями с президентом, торговал орденами Почетного легиона и занимался другими аферами.

Жанна д'Арк, получившая прозвание Орлеанской девы (1412—1431), — французская национальная героиня эпохи Столетней войны. Когда французские войска отступили к Шинону под натиском англичан, Жанна, молодая крестьянская девушка из деревни Домреми, став во главе французского отряда, освободила Орлеан. Постепенно французские города были отвоеваны. При осаде Компьена Жанна попала в плен к англичанам, которые сожгли ее на костре, как якобы колдунью. В начале XX в. Жанна д'Арк была причислена католической церковью к лику святых. Историей Жанны д'Арк нередко пользуются реакционеры в целях клерикально-монархической пропаганды.

Тиллемон (Тийемон), Себастиан (1637—1698) — французский историк.

Бодрикур — вельможа, доставивший Жанне д'Арк возможность добиться свидания с королем Карлом VII.

Фор, Франсуа-Феликс (1841—1899) — президент Французской республики (1895—1899). В дни Коммуны боролся на стороне версальцев; будучи президентом, поддерживал националистов, пользовавшихся борьбой вокруг дела Дрейфуса для нападок на республику. К нему обратил Э. Золя свое открытое письмо в защиту Дрейфуса «Я обвиняю».

Лафит, Пьер (1823—1893) — французский философ-позитивист, ученик Огюста Конта.

Мишле, Жюль (1798—1874) — известный французский историк и публицист; разрабатывал наименее изученную в его время область — историю народных движений, игнорируя, однако, их материальную основу; мелкобуржуазный республиканец и антиклерикал; после переворота 1852 г. отказался принести присягу Наполеону III (был лишен за это кафедры в Сорбонне); вместе с тем Мишле выступал как противник социализма.

Колони, Бартоломео (1400—1475) — кондотьер (предводитель наемных войск), родился в городе Бергаме (Италия).

Маргарита Шотландская (1424—1444) — первая жена французского короля Людовика XI, дочь Иакова I Стюарта, короля Шотландии.

Третья книга «Гаргантюа и Пантагрюэля», сатирического романа знаменитого французского гуманиста Франсуа Рабле (ок. 1494—1553), вышла в 1546 г. и вскоре же была осуждена духовной цензурой.

Меллен де Сен-Желе (1491—1558) — французский поэт, культивировавший преимущественно легкие жанры; большой поклонник поэзии итальянского Возрождения.

Мария-Амалия (1782—1866) — жена французского короля Луи-Филиппа.

Фробейн, Иоганн (1460—1527) — известный немецкий гуманист и печатник. — *Эльзевир* — фамилия семьи знаменитых голландских печатников XVI—XVII вв.

Дебюр — фамилия семьи французских издателей и библиографов XVIII—XIX вв.

Фома Диафуарий — имя двух персонажей, отца и сына, в комедии Мольера «Мнимый больной», ставшее во Франции нарицательным для невежественных врачей, щеголяющих показной ученостью.

Мак-Магон, Эдм-Патрис-Морис (1808—1893) — французский политический деятель, маршал. Во время франко-прусской войны, командуя сотысячной армией, позорно сдался в плен при Седане. Вернувшись из плена, участвовал в подавлении Парижской Коммуны. В 1873—1879 гг. — президент Французской республики, выдвинутый монархическим большинством Национального собрания. Вынужден был сложить свои полномочия в связи с ростом республиканского движения.

Правительство 16 мая — кабинет министров, сформированный герцогом де Бройлем из орлеанистов и бонапартистов после того, как 16 мая 1877 г. подал в отставку Жюль Симон.

Фома Аквинский (1225—1274) — средневековый богослов, типичный представитель церковной схоластики. С конца XIX в., по инициативе римских пап, учение Фомы («томизм») усиленно пропагандируется в качестве официальной философии католицизма, в настоящее время оно приобрело немало последователей среди политических мракобесов США.

Римская республика — 1) одна из республик, существовавших в Италии (1798—1799) на территории Папской области во время оккупации Италии войсками французской Директории; 2) республика, существовавшая в Италии, в Папской области, в период революции 1848—1849 гг. Руководители республики во главе с Мадзини провели ряд важных реформ (уничтожение светской власти папы, введение прогрессивного налога, светского образования и др.). Нерешительность, проявленная в отношении к пережиткам феодализма, и невнимание к интересам крестьянства ослабили силы республики и предрешили ее гибель в борьбе с интервентами — Францией, Австрией, Испанией и неаполитанским королевством. — *Батавская республика* — так назывались Нидерланды с 1795 г., когда была свергнута власть штатгальтера Вильгельма V, отменены все дворянские звания и привилегии и провозглашены «права человека и гражданина». В 1806 г. Наполеон превратил Батавскую республику в Голландское королевство, посадив на голландский престол своего брата Людовика. — *Гельветическая республика* — так называлась Швейцария с 1798 г., когда швейцарскими революционерами с помощью французских войск было свергнуто олигархическое управление швейцарских кантонов и провозглашена единая государственная власть. В 1803 г., вскоре же после того как французы вывели из страны свои войска, восставшими сторонниками старого строя было восстановлено кантонное управление в Швейцарии.

Вильгельм I — прусский король (с 1861 г.), при котором Франция потерпела поражение в франко-прусской войне 1870—1871 гг.; с 1871 по 1888 г.— германский император.

Национальное собрание в Бордо, созванное французским правительством Национальной обороны в феврале 1871 г., было настолько реакционно по своему составу, что можно было серьезно опасаться за дальнейшее существование республики.

Церковь Сердца иисусова — была выстроена на Монмартре по инициативе клерикалов и роялистов, которые провели при президенте Мак-Магоне закон, разрешавший необходимые для этого земельные отчуждения. В честь «Сердца иисусова» устраивались многолюдные паломничества, во время которых толпа при участии правых депутатов Национального собрания распевала гимн «Спасите Рим и Францию во имя Сердца иисусова!». Культ «Сердца иисусова» был одним из видов пропаганды, направленной к восстановлению светской власти папы и легитимной монархии во Франции.

Церковь Фурвьерской богородицы в Лионе — место паломничества, организуемых католическим духовенством. — Шенлон Пьер-Шарль (1820—1899) — один из главарей французских роялистов.

Генрих Богоданный — так аббат Лантень называет графа Шамбора. *Граф Шамбор*, Анри, граф д'Артуа (1820—1883) — внук Карла X, представителя старшей линии Бурбонов, свергнутого революцией 1830 года.

Дровосек в басне Лафонтена «Дровосек и смерть», удрученный бедностью, призывал к себе смерть, но при ее появлении испугался и стал умолять ее помедлить.

Мантуанский аптекарь — бедняк-аптекарь, к которому, в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», обращается Ромео с просьбой продать ему яду. Ссылка аптекаря на то, что за продажу такого яда ему, по мантуанским законам, грозит смерть, удивляет Ромео, который не может понять, как это такой бедняк, измученный нуждою, может еще бояться смерти.

Эсквилин — Эсквилинский холм, самый большой из семи холмов, на которых расположен Рим.

Жюль Леметр (1853—1914) — французский литературный и театральный критик и драматург; реакционер и националист. Его критический метод отличается импрессионизмом, поверхностным скептицизмом и эстетством. Метод литературно-критических этюдов Франса «Литературная жизнь» (1888—1892) кое в чем соприкасается с методом Ж. Леметра, однако реакционное мировоззрение последнего было глубоко враждебно мировоззрению Франса.

Красножелтые тогоносцы — так Франс называет французских профессоров, которые, подобно французским судьям и адвокатам, надевали тогу при исполнении своих обязанностей.

Нирей — один из героев сказаний о Троянской войне, после Ахилла самый красивый из греков, осаждавших Трою.

Фаге, Эмиль (1847—1916) — французский литературовед, литературный и театральный критик, поклонник классицизма XVII в. По своим политическим взглядам Фаге — консерватор.

Думик, Рене — французский литературовед и критик, социолог-эклектик. Приобрел известность в середине 90-х годов прошлого века своими выступлениями против символизма и декадентства.

Пелисье, Жорж (1832—1918) — французский критик и историк литературных движений XIX в.

Ультрамонтаны (от лат. *ultra montes* — за горами, т. е. за Альпами, в Риме) — сторонники расширения власти папы римского как в церковных, так и в светских делах. Главную роль в движении ультрамонтанов играли иезуиты.

Янсенизм — религиозное течение, возникшее во Франции в XVII в. на основе учения голландского богослова Корнелия Янсения и направленное против папства, церковной иерархии и клерикализма. Очагом янсенизма было аббатство Пор Рояль, превратившееся в XVII в. в своеобразную общину вольномыслия и борьбы с иезуитами.

Гам — французская крепость на р. Сомме, куда в 1840 г. был заключен Луи-Наполеон Бонапарт (впоследствии французский император Наполеон III) после неудавшейся попытки свергнуть Луи Филиппа и провозгласить себя императором. Из крепости Гам Луи Наполеон бежал в 1846 г., переодевшись в платье каменщика Баденге (отсюда и насмешливое прозвище Баденге, которое дали Наполеону III).

Мори, Альфред (1817—1892) — французский историк средних веков.

Парис, Франсуа (1690—1727) — диакон-янсенист. Его могила на кладбище *монастыря св. Медара* стала местом, где так называемые «конвульсионеры», фанатическая секта, возникшая на основе извращенного янсенизма, устраивали свои «чудеса».

Мональдеки — фаворит шведской королевы Христины, убитый по ее приказу в Фонтенебло в 1657 г.

Виоле ле Дюк, Эжен-Эманюэль (1814—1879) — французский археолог и архитектор, реставрировавший целый ряд памятников средних веков.

Брантом, Пьер де Бурдель (ок. 1534—1614) — французский писатель-мемуарист. Книги его содержат в себе подробное и живое описание быта, характеров и нравов аристократического общества XVI в. Наиболее известные его произведения — «Жизнеописания великих полководцев», «Жизнеописания знаменитых дам» и «Жизнеописания галантных дам».

Лакордер, Жан-Батист-Анри (1802—1861) — французский священник и церковный проповедник, в молодости адвокат; в начале 30-х годов был единомышленником Ламенне. После февральской революции 1848 г. призывал к примирению католической церкви с республикой. Был депутатом в Учредительном собрании 1848 г.

Монталамбер, Шарль, граф (1810—1870) — французский публицист и главарь католической партии ультрамонтанов; активно содействовал воцарению Наполеона III. До отлучения от церкви Ламенне сочувствовал его деятельности, после отлучения порвал с ним. Маркс называет Монталамбера «шефом иезуитов».

Вейо, Луи (1813—1883) — французский католический публицист, яростный сторонник ультрамонтанства.

Вовенарг, Люк де Клапье, маркиз де (1715—1747) — французский писатель-моралист, автор книги «Введение к познанию человеческого разума», а также «Размышления и максимы».

Гамбетта, Леон-Мишель (1838—1882) — французский политический деятель, умеренный республиканец. Стоял во главе республиканской оппозиции при Второй империи, участвовал в провозглашении республики в 1870 г., был членом правительства Национальной обороны во время франко-прусской войны после капитуляции Наполеона III и армии Мак-Магона, энергично организуя в провинции сопротивление немецким войскам. После подавления Парижской Коммуны стоял во главе республиканского блока. При президенте Жюле Гриви был председателем палаты депутатов (1879), в 1881 г. сформировал «великое министерство», обнаружившее свое полное бессилие в осуществлении демократизации страны. Типичный оппортунист, провозглашавший необходимость примирить интересы буржуазии и рабочих, Гамбетта к концу 70-х годов окончательно утратил популярность, которой он пользовался одно время как борец за республику при Наполеоне III и при маршале Мак-Магоне.

Хромой бес — персонаж одноименного романа французского писателя Лесажа (1668—1747), обещавший студенту Клеофасу «показать все, что происходит на свете», и снимавший крыши с домов Мадрида, чтобы можно было увидеть без всяких прикрас жизнь его обитателей. Под видом Испании Лесаж в этой книге изображает Францию, давая образцы блестящей социальной сатиры.

Бергамский кондотьер — Колеони; см. прим. 32.

«*Сто новых новелл*» — первый сборник новелл на французском языке, написанный в середине XV в., один из ярких памятников раннего Возрождения. Сборник анонимен,— по всей вероятности, автор его — Антуан де ла Саль.

Виремент — здесь имеется в виду незаконное действие, заключающееся в использовании государственных кредитов по другой статье бюджета, чем та, которая была предусмотрена при вотировании этих кредитов.

Концентрационный кабинет — кабинет министров, составленный якобы на основе политики примирения между всеми парламентскими фракциями республиканского большинства.